

Содержание

- 1. ПОЛЬША В СЛЕЗАХ
- 2. ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЕЙ
- 3. ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЕЙ
- 4. ПИСЬМА КАК ПРИКОСНОВЕНИЕ
- 5. КТО РАССТРЕЛИВАЛ БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН?
- 6. К ИСТОРИИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ
- 7. ИЗ ИСТОРИИ РАДИО "СВОБОДНАЯ ЕВРОПА"
- 8. СТИХОТВОРЕНИЯ
- 9. ПЕРВОРОДНЫЙ СЫН МИРА НА ULTIMA THULE
- 10. СЕРГЕЙ КУЛАКОВСКИЙ ПОПУЛЯРИЗАТОР ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
- 11. ПРОЧТЕНИЕ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- 12. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
- 13. ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

ПОЛЬША В СЛЕЗАХ

- Лех Валенса: "Без Святейшего отца, без его слова в Польше царили застой, отчаяние и безнадежность. Никто не верил, что все может быть иначе. Когда Иоанн Павел II приехал к нам в 1979 г., он засеял слово свободы, которое стало плотью уже на следующий год. Он разбудил нас, поляков, и мы поверили его слову, поверили, что есть надежда на перемены. Так родился август 80-го, так родилась "Солидарность", изменившая лицо Европы. Это заслуга Иоанна Павла II". ("Жечпосполита", 2-3 апр.)
- Президент Александр Квасневский: "Ушел великий Папа, наш самый выдающийся соотечественник. Польша и поляки в особенном долгу перед Иоанном Павлом II. Без Папы не было бы польской свободы". ("Жечпосполита", 4 апр.)
- Михаил Горбачев: "Умер великий гуманист. Без его участия берлинская стена никогда бы не рухнула". ("Жечпосполита", 4 апр.)
- Президент Джордж У. Буш: "Мы благодарим Бога за то, что Он послал такого человека, сына Польши, который стал епископом Рима и героем на века. С его кончиной мир потерял защитника свободы". ("Жечпосполита", 4 апр.)
- Президент Виктор Ющенко: "Это святой человек, великая гордость поляков. Но в нем текла и капля украинской крови, а свою жизнь, свои труды он связал и с Украиной. Наши отцы не знали столь великого представителя славянских народов". ("Газета выборча", 4 апр.)
- Александр Солженицын: "Иоанн Павел II повлиял на ход всей мировой истории. Уникальность польского Папы состоит в том, что его популярность отвечает тому колоссальному вкладу, который он внес в церковные дела и в ход всей истории человечества. России это касается напрямую, ибо роль Папы в свержении коммунистической системы была огромна". ("Жечпосполита", 9-10 апр.)
- Главный раввин Польши Михаэль Шудрих: "За последние две тысячи лет никто не сделал для иудейско-католического диалога и примирения столько, сколько Иоанн Павел II. Он научил нас, что значит любить всех людей, все творения Божие

- (...) Он показал нам, как жить и даже как умирать. Мир лишился великого морального авторитета, своего нравственного компаса. Польша потеряла величайшего учителя и героя. Евреи потеряли своего лучшего друга и защитника". ("Тыгодник повшехный", 10 апр.)
- "В репортаже из Москвы после смерти Иоанна Павла II корреспондент сказал, что, по мнению патриарха Русской Православной Церкви Алексия II, только теперь могут возникнуть условия для диалога с католической Церковью. Эти слова настолько шокируют, что трудно в них поверить (...) Сейчас заплаканная Польша не обращает внимания на российскую бестактность и комплексы. Она прощается со своим покровителем, духовным предводителем, Святейшим отцом..." (Ян Петшак, "Газета польска", 6 апр.)
- "Приспущены флаги, отменены культурные мероприятия, изменены программы телевидения. Каждый день в 7.45 утра бьет вавельский колокол Зигмунта. Общенациональный траур будет продолжаться до дня похорон Папы (...) Кинотеатры отменили сеансы, а театры спектакли. По всей Польше открыты книги соболезнований (...) В воскресный полдень в Варшаве завыли сирены. На три минуты стали машины и автобусы, остановились пешеходы. Люди взялись за руки, некоторые плакали (...) Над посольствами, консульствами и резиденциями послов были приспущены флаги. Флаг не приспустило лишь посольство Российской Федерации". ("Газета выборча", 4 апр.)
- "Больше всего народу пришло на литургию в Кракове и в Варшаве (...) Более 100 тысяч человек до сих пор такие толпы собирались на варшавской площади [Пилсудского] только когда литургию там служил сам Папа во время своих апостольских визитов. Не все уместились вокруг могилы Неизвестного солдата. До краев были заполнены прилегающие улицы и половина Саксонского парка". ("Жечпосполита", 4 апр.)
- "Власти многих польских городов объявили пятницу [день похорон Папы] выходным днем (...) На следующую неделю перенесены (...) заседания Сейма и Сената (...) Каждый день (вплоть до пятницы) в 12 часов в Варшаве будут включаться сирены. Вой сирен будет сопровождать также начало похоронной церемонии в Ватикане. Во многих населенных пунктах в 21.37 (в это время умер Иоанн Павел II) будут всю неделю бить колокола. Местные власти и общественность организуют "белые марши" в знак благодарности за понтификат (...) Польский футбольный союз отменил матчи всех уровней вплоть до особого распоряжения (...) Отменено

также большинство концертов и других культурных мероприятий". ("Жечпосполита", 5 апр.)

- "Иоанн Павел II Великий (...) "Почему Великий?" спрашиваю я владельца газетного киоска неподалеку от Ватикана. "Потому что это прилагательное, в котором каждый находит то, что хочет сказать об этом Папе", отвечает тот. "Потому что даже китайцы прислали письмо с соболезнованиями", добавляет таксист. "Даже Фидель Кастро", говорит комментатор государственного телевидения. "Потому что он разрушил берлинскую стену и соединил Восток с Западом", объясняет Орацио Петросилло из газеты "Мессаджеро". (Ярослав Миколаевский, "Газета выборча", 5 апр.)
- "Вчера на здании посольства Российской Федерации в Варшаве был приспущен флаг (...) Российское посольство было единственным в Варшаве дипломатическим представительством, не почтившим смерть Иоанна Павла II. Однако вчера около полудня флаг был приспущен, причем не только на здании посольства в Варшаве, но и на российских консульствах в Гданьске, Познани и Кракове". ("Газета выборча", 5 апр.)
- "В пятницу 8 апреля не будут работать министерства, а также центральные, воеводские и другие правительственные учреждения (...) Совет министров призвал всех предпринимателей позволить своим подчиненным в ближайшую пятницу "достойно почтить память нашего величайшего соотечественника" и "вместе попрощаться с ним". С аналогичным призывом правительство обратилось к начальству служащих, солдат, школьников и студентов". ("Жечпосполита", 6 апр.)
- "Торговые центры единогласно приняли решение не работать в день похорон Папы Иоанна Павла II". ("Жечпосполита", 6 anp.)
- "Вчера на общенациональную заупокойную мессу пришли почти 250 тыс. человек. С самого утра на площадь Пилсудского стекались люди со всей Польши. Первые из них появились уже в 7 утра. Они приносили свечи и цветы, из которых на земле был уложен крест, обращенный к могиле Неизвестного солдата (...) В 1979 г. на этой самой площади Папа произнес достопамятные слова: "Да снизойдет Дух Твой и обновит лицо земли! Этой земли!" В мессе участвовали президент, премьер-министр, маршалы Сейма и Сената, члены Епископата, апостольский нунций и дипломатический корпус (...) Над площадью развевались сотни украшенных траурными лентами флагов

Польши и Ватикана, военных и харцерских [скаутских] знамен. Вместе молились обычно враждующие между собой болельщики варшавских [спортивных] клубов "Легия" и "Полония"". ("Жечпосполита", 6 апр.)

- Подпись под фотографией: "Одна из самых длинных улиц Варшавы, четырехкилометровая аллея Иоанна Павла II озарилась светом тысяч лампадок. Тысячи людей пришли сюда, чтобы символически попрощаться с Папой. Они зажигали лампадки на газонах, тротуарах, остановках, в окнах домов. Около 21.30 людей было уже так много, что они не помещались на тротуарах и блокировали проезжую часть. В тишине они сосредоточенно ожидали наступления 21.37 часа, когда умер Папа. На снимке столб с названием улицы, украшенный цветочниками из Мировских торговых рядов". ("Газета выборча", 8 апр.)
- "Весь Краков оделся в белое (...) Во вчерашнем "Белом марше благодарности" приняли участие почти полмиллиона человек (...) Вечером на молебне, отслуженном на Блонях [огромный луг почти в самом центре города], их было уже больше миллиона (...) Свои национальные флаги и фотографии Папы, жмущего руку Ясиру Арафату, несли палестинцы. Группу из 50 студентов и предпринимателей вел Омар Фарис, председатель краковского Общества польско-палестинской дружбы. "Для нас Папа - это свет. Он хотел мира между религиями и народами", - говорил Фарис (...) Были и цыгане (...) Комментировавший события в Кракове корреспондент немецкого телевидения ARD Робин Лаутенбах стоял и качал головой: "Невероятное впечатление. Неудивительно, что у вас говорят о поколении Иоанна Павла II" (...) О Святейшем отце напоминало стоящее за алтарем пустое кресло, на котором он сидел во время приездов в Краков". (Войцех Пелевский и Ивона Хайнош, "Газета выборча", 8 апр.)
- Председатель Конференции Епископата Польши архиепископ Юзеф Михалик поблагодарил соотечественников за "поразительное свидетельство", которое столица и вся Польша дали после смерти Иоанна Павла II. "То, как мир и наша родина переживают в эти дни болезнь и смерть Иоанна Павла II, говорит всем нам, что стоит надеяться, стоит любить людей, что человек и сегодня безошибочно распознает [добро], умеет быть благодарным и отвечать любовью на любовь", сказал архиепископ. ("Жечпосполита", 6 апр.)
- "В 10 часов, когда в Риме начнется похоронная церемония, во многих городах будут бить колокола. Благодаря большим экранам поляки смогут участвовать в ватиканском богослужении". ("Газета выборча", 7 апр.)

- "Польская официальная делегация, направляющаяся в Рим, состоит из десяти человек (...) Польшу будут представлять президент Александр Квасневский с супругой, премьерминистр Марек Белька, маршал Сейма Влодзимеж Цимошевич, маршал Сената Лонгин Пастусяк, бывший президент Лех Валенса с супругой, бывший премьер-министр Тадеуш Мазовецкий, бывший маршал Сейма Веслав Хшановский и бывший премьер-министр, ныне посол Польши в Ватикане Ханна Сухоцкая". ("Газета выборча", 7 апр.)
- "Два вторых лица на похоронах. Путин не едет в Ватикан. Россию на похоронах Святейшего отца будет представлять премьер-министр Михаил Фрадков, а Русскую Православную Церковь митрополит Кирилл, второе лицо после патриарха. Почему на церемонию не едет сам Владимир Путин ведь большинство других государств представлено на высшем уровне?" ("Жечпосполита", 7-8 апр.)
- "Это была необычная сессия парламента она прошла в темноте и в полном молчании. Председательствовали маршалы Сейма и Сената, а кроме них выступал только... Иоанн Павел II. На сессию прибыли президент, премьер-министр, дипломатический корпус, представители Церквей, а также судов и других конституционных органов (...) Под мемориальными досками, увековечившими визит Иоанна Павла II в польский парламент в 1999 г., горели свечи и лежали цветы (...) На украшенном цветами возвышении стояло обвитое траурной лентой кресло, на котором Иоанн Павел II сидел в 1999 году. Кроме портрета Папы, это было единственное освещенное место в зале заседаний. В кулуарах Сейма стояли корзинки с белыми и черными ленточками, которые парламентарии прикалывали на грудь в знак траура. Депутаты и сенаторы в темноте просмотрели видеозапись исторического выступления Иоанна Павла II в польском парламенте. Затем маршал Сейма Влодзимеж Цимошевич прочел текст резолюции, которую собравшиеся в молчании приняли". (Элиза Ольчик, "Жечпосполита", 7-8 апр.)
- Из резолюции "Акт увековечения памяти Святейшего отца Иоанна Павла II Сеймом и Сенатом Республики Польша": "Он учил нас, как непоколебимо хранить свою веру и в то же время испытывать глубокое уважение к приверженцам других религий и неверующим. Он учил нас, как не отрекаться от принадлежности и любви к своему народу и в то же время открывать свое сердце другим народам (...) Иоанн Павел II никого не считал своим врагом, хотя были и такие, кто считал врагом его (...) Его учение о праве нашей отчизны на свободу

среди европейских народов, о ее праве на любовь и солидарность, его практическая защита прав нашего народа сделали Иоанна Павла II величайшим отцом польской независимости". ("Газета выборча", 7 апр.)

- "Папа повсюду. Трудно найти даже спортивные новости или прогноз погоды без него. Мирящиеся болельщики, рассказ Папы о плавании по Эльблонгскому каналу, журналистка, говорящая, что Папа послал нам хорошую погоду. На канале "Польсат" идет фильм, но в углу надпись: "Польша в трауре". Когда на этой неделе человек пытается поймать любимую радиостанцию, у него возникают трудности: все программы сделались похожими друг на друга, везде звучит один и тот же голос Папы (...) С телевидения, радио и из газет исчезли политики. Они не комментируют смерть Папы, хотя до сих пор комментировали практически все, что происходило в Польше (...) Теперь на радио и телевидении появились т.н. рядовые люди. Они звонят и говорят об услышанном, вспоминают свои встречи с Папой, даже если он стоял в двухстах метрах от них. Что характерно, они не жалуются. Они восхищены журналистами, программами, душевной атмосферой на улицах (...) "Что с нами происходит?" - спрашивает журналист. "Дух Святой дышит", отвечает его гость". (Эва Милевич, "Газета выборча", 8 апр.)
- "В пятницу с раннего утра широкая человеческая река снова заливает Блони (...) По данным полиции, в пятницу на Блони пришло 800 тыс. человек (...) На время похорон закрылись магазины и рестораны. В 10, 11 и 12 часов с башни Мариацкого собора вместо традиционного хейнала полилась скорбная мелодия "Слезы матери". Целый год оркестр пожарников будет играть эту мелодию в час смерти Святейшего отца. Спустя год и, как обещают пожарники, "до скончанья веков" в 21.37 с Мариацкой башни будет звучать любимая песня Иоанна Павла II "Лодка"". (Ежи Садецкий, "Жечпосполита", 9–10 апр.)
- "На варшавской площади Пилсудского земля дрожала от грома пушечного салюта. Колокола, сирены и клаксоны были слышны во всех польских городах. Когда гроб с телом Иоанна Павла II вносили в базилику св. Петра, сотни тысяч людей плакали (...) В это время город замер". ("Жечпосполита", 9–10 апр.)
- "Несколько сот человек молились в пятницу вечером за душу Иоанна Павла II в синагоге на Твердой улице в Варшаве. "На похоронах Папы я видел миллионы человек католиков, евреев, мусульман. Все мы были вместе", сказал раввин Михаэль Шудрих, приехавший в синагогу прямо из аэропорта". (Мариуш Ялошевский, "Газета выборча", 9-10 апр.)

- "Итальянцы оценивают число паломников в 4-5 млн. человек, в том числе 1-2 млн. поляков. В телефонном разговоре с президентом Александром Квасневским Берлускони подчеркнул, что, несмотря на усилия властей, в городе, на дорогах и в аэропортах возникают все новые трудности". ("Политика", 9 апр.)
- ""Валенса разговаривает с Квасневским", сообщил нам по телефону сразу же после церемонии возбужденный Ежи Боровчак, один из лидеров "Солидарности", которого бывший президент взял с собой в Ватикан (...) Валенса и Квасневский пожали друг другу руки еще перед заупокойной мессой (...) "Как тут не сказать, что Святейший отец творит чудеса", прокомментировал эту ситуацию Валенса. ""Мы оба чувствовали, что этого требует от нас серьезность момента, что это наш долг перед ним, перед Святейшим отцом", добавил Александр Квасневский". ("Жечпосполита", 9-10 апр.)
- Данута Валенса: "Мы, современные поляки, обязаны Папе чуть ли не всем (...) Теперь, когда глаза Святейшего отца закрылись, может быть, мы, наконец, откроем наши глаза? (...) Может, начнут приносить плоды все его усилия, все его труды на благо человечества, а особенно на благо поляков? А может, это только моя наивная мечта?" ("Жечпосполита", 9-10 апр.)
- Из завещания Иоанна Павла II: "Как же не охватить благодарным мысленным взором все Епископаты мира, с которыми я встречался в ритме визитов? (...) Как же не вспомнить стольких братьев-христиан не католиков? А раввина Рима? И стольких представителей нехристианских религий? (...) Всем я хочу сказать одно: "Спаси вас Господь". Иоанн Павел II, Папа". ("Газета выборча", 8 апр.)

ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЕЙ

Письмо Русского ПЕН-Центра Польскому ПЕН-Клубу

Уважаемые коллеги!

Ряд государственных деятелей нашей страны выступили недавно с весьма неожиданными, касающимися российско-польских отношений высказываниями, сразу же добавившими горечи и недоумения к накопившимся за века многим обидам и ошибкам.

И это сейчас, когда время и добрая воля медленно исцеляют давние раны и сглаживают старые шрамы. Сейчас, когда приближается годовщина окончания Второй мировой войны, светлый юбилей завершения нашей общей беды.

Чтобы справиться с бесчеловечным высокомерным врагом, наши страны пережили, казалось бы, невозможное. Домой не вернулись миллионы солдат — мы этого не забываем. Не забываем Освенцим, Майданек и Треблинку. Незаживающей болью было и остается Катынское злодеяние. Наши мученики и герои по-прежнему поднимают восстание в Варшавском гетто и Варшавское восстание. Горят села и города. Горит стираемая с лица земли Варшава. Шесть лет ужаса на Вашей земле и четыре года на нашей — как же странно сознавать, что

начало этому кошмару практически положил чудовищный пакт Риббентропа-Молотова!

Но мы с Вами победили. Несмотря ни на что и вопреки всему у нас получилось. Мы знаем и не забываем это.

Последние год оказался для Вас временем невосполнимых потерь — из жизни ушли достойнейшие сыновья Польши — борец за свободу, человек безупречной чести Яцек Куронь, вдохновенный нобелевский лауреат Чеслав Милош и духовный пастырь миллионов Кароль Войтыла — римский первосвященник Иоанн Павел II.

Над их прахом склоняем головы и мы, а с нами многие и многие наши сограждане. Пример этих благородных, великих личностей не позволяет и нам с Вами забывать о своей ответственности за правду, за честную оценку прошлого и разумный подход к настоящему.

Только в этом случае нашим странам суждено надлежащее достоинство и величие.

Исполком Русского ПЕН-центра

* *

Ответ Польского ПЕН-Клуба Русскому ПЕН-Центру

Дорогие Друзья!

Благодарим Вас за Ваше письмо и слова, столь необходимые сейчас — в невеселые для официальных российско-польских отношений времена. Мы ждали этих слов, не сомневаясь, что они будут сказаны. Благодарим Вас и за то, что почтили память трех ушедших недавно поляков — борца за свободу, поэта и пастыря миллионов.

Вашими устами заговорила с нами Россия многих тысяч порядочных и честных людей. Она обратилась к нам не словами «черного пиара», пропагандистской лжи и провокационных оскорблений. Ее народной традицией не были и не есть преступления тиранов и палачей, сатанинские пакты Риббентропов и Молотовых, катынские рвы и святые монастыри, обращенные в лагеря — места Вашего и нашего мученичества, ибо она — край нелегкой борьбы за достойную жизнь, за правду и свободу слова. В этой борьбе за наши общие идеалы велики заслуги и Российского ПЕН-центра.

Приближается Девятое мая — для трех уже поколений святой день во многих российских семьях, чьи сыновья покоятся и в польской земле. Это не только солдатские могилы, это еще и наследие геноцида — развеянный пепел советских военнопленных, погибших от голода за колючей проволокой гитлеровских лагерей. Пускай же нам и Вам сопутствуют в этот день слова польских поэтов: предостережение Збигнева Герберта не спешить с прощением «от имени тех, кто предан на рассвете» и поразительные стихи Виславы Шимборской о голодном лагере под Яслем. Пусть в нашей памяти «история не округляет скелеты до нуля».

ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЕЙ

Письмо Русского ПЕН-Центра Польскому ПЕН-Клубу

Уважаемые коллеги!

Ряд государственных деятелей нашей страны выступили недавно с весьма неожиданными, касающимися российско-польских отношений высказываниями, сразу же добавившими горечи и недоумения к накопившимся за века многим обидам и ошибкам.

И это сейчас, когда время и добрая воля медленно исцеляют давние раны и сглаживают старые шрамы. Сейчас, когда приближается годовщина окончания Второй мировой войны, светлый юбилей завершения нашей общей беды.

Чтобы справиться с бесчеловечным высокомерным врагом, наши страны пережили, казалось бы, невозможное. Домой не вернулись миллионы солдат — мы этого не забываем. Не забываем Освенцим, Майданек и Треблинку. Незаживающей болью было и остается Катынское злодеяние. Наши мученики и герои по-прежнему поднимают восстание в Варшавском гетто и Варшавское восстание. Горят села и города. Горит стираемая с лица земли Варшава. Шесть лет ужаса на Вашей земле и четыре года на нашей — как же странно сознавать, что

начало этому кошмару практически положил чудовищный пакт Риббентропа-Молотова!

Но мы с Вами победили. Несмотря ни на что и вопреки всему у нас получилось. Мы знаем и не забываем это.

Последние год оказался для Вас временем невосполнимых потерь — из жизни ушли достойнейшие сыновья Польши — борец за свободу, человек безупречной чести Яцек Куронь, вдохновенный нобелевский лауреат Чеслав Милош и духовный пастырь миллионов Кароль Войтыла — римский первосвященник Иоанн Павел II.

Над их прахом склоняем головы и мы, а с нами многие и многие наши сограждане. Пример этих благородных, великих личностей не позволяет и нам с Вами забывать о своей ответственности за правду, за честную оценку прошлого и разумный подход к настоящему.

Только в этом случае нашим странам суждено надлежащее достоинство и величие.

Исполком Русского ПЕН-центра

* *

Ответ Польского ПЕН-Клуба Русскому ПЕН-Центру

Дорогие Друзья!

Благодарим Вас за Ваше письмо и слова, столь необходимые сейчас — в невеселые для официальных российско-польских отношений времена. Мы ждали этих слов, не сомневаясь, что они будут сказаны. Благодарим Вас и за то, что почтили память трех ушедших недавно поляков — борца за свободу, поэта и пастыря миллионов.

Вашими устами заговорила с нами Россия многих тысяч порядочных и честных людей. Она обратилась к нам не словами «черного пиара», пропагандистской лжи и провокационных оскорблений. Ее народной традицией не были и не есть преступления тиранов и палачей, сатанинские пакты Риббентропов и Молотовых, катынские рвы и святые монастыри, обращенные в лагеря — места Вашего и нашего мученичества, ибо она — край нелегкой борьбы за достойную жизнь, за правду и свободу слова. В этой борьбе за наши общие идеалы велики заслуги и Российского ПЕН-центра.

Приближается Девятое мая — для трех уже поколений святой день во многих российских семьях, чьи сыновья покоятся и в польской земле. Это не только солдатские могилы, это еще и наследие геноцида — развеянный пепел советских военнопленных, погибших от голода за колючей проволокой гитлеровских лагерей. Пускай же нам и Вам сопутствуют в этот день слова польских поэтов: предостережение Збигнева Герберта не спешить с прощением «от имени тех, кто предан на рассвете» и поразительные стихи Виславы Шимборской о голодном лагере под Яслем. Пусть в нашей памяти «история не округляет скелеты до нуля».

ПИСЬМА КАК ПРИКОСНОВЕНИЕ

В июле 1955 г., в летнем лагере харцерской дружины им. генерала Вальтера, Яцек Куронь познакомился с Гражиной Боруцкой. «...Я-то и придумал ей имя Гая — и вместе с ней началась настоящая жизнь. Она сделала мою жизнь осмысленной, сделала меня чего-то стоящим, сделала меня тем, кем я стал. Чего бы я без нее стоил? А ведь когда я с ней познакомился, ей было 15 лет, а мне — 21» (Яцек Куронь, «Вера и вина», Варшава, 1990). В 1959 г. они поженились, а в 1960-м у них родился сын Мацей.

Яцек Куронь (Вроцлав, воинская часть, март 1961):

...Всегда, всегда вся жизнь перед нами. Можно же прожить за год сто лет и за сто лет не пережить ничего. К тому же, вопреки видимости, это никогда не зависит от того, сколько тянется время, а от того, как быстро живешь. Так какое же у нас было прошлое? Ты дала мне настоящее счастье — богатое, мудрое, большое. Думаю, что даже если бы у нас за спиной не было ничего, кроме нашей любви, то и так это была бы прекрасная и богатая жизнь. С другой стороны, если бы не было ничего, кроме нашей любви, то наша любовь не была бы такой изумительной. (...)

Перед нами много лет. Трудных лет, прекрасных лет. Мы будем много, очень много работать друг для друга, для Мачека, для людей (это все одно и то же). Будем очень счастливы, хотя, наверное, иногда нам будет плохо.

В марте 1965 г. Яцек Куронь и Кароль Модзелевский написали «Открытое письмо членам ПОРП». 20 марта оба были арестованы.

Яцек (Варшава, следственная тюрьма ГБ на Раковецкой, 21 марта 1965):

Маленькая, вот и первое письмо. Сегодня 21 марта, воскресенье — здесь день писания писем. Как здесь? Ну, трудно сказать, что хорошо, но во всяком случае жить можно. Ем (за счет государства), сплю (в государственной постели), курю (у соседей по камере есть курево), ну и, конечно, веду очень милые беседы с государственными служащими. Давай рассматривать эту историю как мой отпуск. (...)

Может, скажешь Мачеку, что я в армии? Он, впрочем, наверно вовсе и не удивляется, что папы нет. Обещаю после возвращения рассказать ему длинную и очень интересную историю о дальних странствиях.

Гая (23 мая 1965):

Как никогда раньше мучает меня, что пишу не только тебе и что не знаю, когда ты получишь это письмо. Это, конечно, лишь минутное настроение и ни в коем случае не свидетельствует о том, что я хоть как-то сломилась. Функционирую совершенно нормально и, разумеется, в соответствии с указанием не жду, и время как-то проходит.

Яцек (23 мая 1965):

Вся эта история затягивается надолго, и нам придется еще подождать друг друга. Да что там — самое главное, что мы твердо знаем, что друг друга дождемся. Обеда можно ждать час, поезда — неделю, денег — до первого... (И никогда не знаешь, сто́ит ли все это чего-нибудь.) Тебя я готов ждать много лет и твердо знаю, что сто́ит. (...) Ну а ты? Насколько правдивы твои письма? Ты в них мужественная, владеющая собой, улыбающаяся. Знаю, такая — это тоже ты, но что еще?

Гая (7 июня 1965):

Яцек, тяжело, очень тяжело без тебя, но хорошо. Я не хотела бы, чтобы было иначе, потому что надо ведь чувствовать себя человеком, чтобы быть счастливым. И мы, пожалуй, выбрали правильно, без уловок, и для нас обоих это будет какая-то победа. (...) Дождемся же мы конца этого дела, а потом разных других дел и будем обогащаться жизненными переживаниями и общими решениями. Лишь бы они всегда были честными — боюсь и подумать, что могло бы быть иначе.

Яцек (27 июня 1965):

Мы научились делиться заботами и решениями, и это хорошо, прекрасно. (...) То, что ты мне написала — страшно мудрая мысль: чтобы быть счастливым, сначала надо быть человеком. Очень часто думаю так же, как и ты, о наших будущих решениях. Верю, что они всегда будут честными. Хотя и отдаю себе отчет в том, что сегодня очень трудно брать на себя такие обязательства на завтра и послезавтра. Знаю, что когда это пройдет, мы станем богаче, и даже думаю, что мы уже богаче.

19 июля Яцек Куронь был приговорен к трем, а Кароль Модзелевский — к трем с половиной годам тюрьмы.

Яцек (8 августа 1965):

У меня тридцать лет интересной жизни позади и по крайней мере еще столько же не менее интересной жизни впереди. (...) Заметь, как сильно ты наполняешь мою жизнь: всякое дело, которое представляет в нем какую-то ценность, связано прежде всего с тобой. Это, пожалуй, и есть рецепт любви. Но я в этой области проклятый эгоист: не умею огорчаться, что так мало людей находят этот рецепт, а только все больше радуюсь, что мы его нашли.

Гая (5 октября 1965):

Все-таки за нами уже немалый кусок времени, а у меня постоянно такое чувство, что мы расстались недавно и перед нами только кусочек самостоятельного (но не одинокого) странствия. Если и для тебя, мой милый, то время, что у нас позади, минуло быстро, то очень хорошо. Знаю, что ты занят почти неустанно и, что важно, продуктивно, и если я только могу себе позволить мрачные мысли, то, в конце концов, на основе стереотипа о том, что тюрьма — это как-никак не особое удовольствие. Совершенно не беспокоюсь о тебе в этом контексте — ну, может, только чуточку.

Яцек (5 октября 1965):

Где-то в одном из первых писем ты употребила оборот «наше дело», и я понял, что мы по-прежнему вместе, что ты какимто образом со мной в тюрьме, а я с тобой (по ту сторону стены). (...) Ведь это ты «твердая», ты моя сила. Сегодня больше чем когда бы то ни было я знаю, что — войду ли я на свой «Mount» или нет — мои величайшим достижением останешься ты.

Яцек (10 октября 1965):

...всем заинтересованным объясни, что свобода — это прежде всего свобода «для», а не «от», а в связи с этим я-то и есть свободней, чем они.

Яцек (24 октября 1965):

Жутко тосковал по обычному городскому движению, толкучке в трамваях, ссорам пассажиров, брани водителей, по тому, чтобы открывать каждый день новых людей и созерцать восходы солнца после проведенной за разговорами ночи, по запаху соснового дерева из костра, усталости ног от ходьбы и спины от рюкзака. По вкусу первой сигареты, выкуриваемой на пустой желудок на рассвете на грязном вокзале чужого города.

Такая метафизическая тоска по жизни вообще, то есть, пожалуй, по неустанной погоне за вкусом жизни.

Гая (14 ноября 1965):

Милый мой! Сегодня 14 ноября — годовщина наших первых контактов с государством (чтобы не писать с аппаратом подавления). Прекрасно помню ночь, которую мы провели не дома, и мысли, мучившие меня тогда. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что прогресс не состоится без тех, кто решится сделать шаг вперед (невзирая на последствия), и в то же время меня не оставляла надежда, что в нашем случае будет иначе. (Сегодня могу сказать, что это «иначе» означало «легче».) Стыжусь ли я этого? Знаешь, пожалуй, нет. Мой ответ вытекает из того, что теперь, когда сложились обстоятельства, которых я так боялась год назад, я ни на минуту не оцениваю их как трагедию, зато есть всякие другие, о которых я думаю со страхом. Больше всего, таким страхом со дна души, боюсь, что мы могли бы когда-нибудь больше не встретиться. Но это страх нереальный, до такой степени нереальный, что функционирует как своя противоположность — радость от того, что мы обязательно встретимся и снова сможем быть вместе.

Яцек (26 декабря 1965):

Здравствуй, моя маленькая! Это письмо должно быть деньрожденьишным. Тебе ведь 2 января исполняется 26 лет. (...) желать чего-то тебе — это и себе желать, так что, пожалуй, я тебя только поблагодарю. (...) Ты, наверное, помнишь, кто-то сказал, что по-настоящему любить — это значит прекрасно требовать, и всегда все больше и больше. Ты это умеешь. Если я теперь живу в хорошем настроении, даже удовлетворенный, то все потому, что работаю. А ведь это ты мне велела работать, объяснила мне, что попросту выжить — это еще совершенно ничего не значит. Спасибо тебе за это.

А кроме требований было еще то, что ты думала и говорила обо мне. Все это было, видишь, на вырост, всегда немного выше меня, хотя и никогда — выше моих возможностей. И я всегда старался быть по мерке твоих представлений, стоял на ушах, чтобы тебя не подвести. (...) Весь мой мир, эти принципиальные ценности и ценности мимолетные, преходящие и неповторимые. Всё это — ты. (...) И за это я особенно хочу тебя поблагодарить, а еще за то, что мы любим одни и те же стихи, и одинаково чувствуем запах сирени, и одинаково чувствуем сильный ветер и осенний дождь.

Гая (28 мая 1966):

Я вспомнила, с какой глупой гусыней ты имел дело десять лет назад, и не могу опомниться от восхищения, как ты с ней выдержал столько лет. Помню, я была соплячка и компрометировала уважающего себя студента. Несомненно, ты проявил воспитательный талант, но еще и самоотречение не в пример рядовому смертному. О Боже, какая гусиная кожа у меня появляется при воспоминании о твоих мучениях, и не пытайся отрицать.

Яцек (тюрьма в Потулицах, 21 августа 1966):

Ты пишешь: «какая я была бы гусыня, если бы не ты» (т.е. я). Наверное, правда, что благодаря мне ты умнела, но отдаешь ли ты себе отчет в том, что это было обоюдным, что я в Волине был ограниченным и самонадеянным? Теперь я тоже наверняка не мудрец, хотя вместе с тобой — кто знает. Моя ценность росла благодаря тебе и ради тебя. А какая ты была в Волине? Красивая, и по-человечески умная, и чуткая к человеческому несчастью, и еще с сиянием в глазах. В такую девушку я влюбился и люблю все больше. (...)

Я ограничен форматом и полями, так что должен считать каждое слово. Но и твой черед наступил: здешние власти очень просят, чтобы ты писала крупными буквами и делала побольше пробелы между строчками.

Яцек (25 декабря 1966):

Письмо кончается, и это был не такой разговор, которого мы ждем. И хотя я знаю, что среди нас есть бдительные аналитики, но не чувствую себя униженным, совсем наоборот, должен взвешивать свои (...) слова, тяжело. Но ведь и этими убогими словами я пересылаю тебе кусочек себя, и сквозь эту шероховатость ты меня понимаешь. Так, как я тебя, в каждой детали.

Гая (10 апреля 1967):

Осталось нам 11 месяцев и 9 дней, что означает 11 свиданий и вдвое больше писем, и думаю, что мне особенно помогает то, что каждый месяц: апрель, май, июнь — будет последним апрелем, маем, июнем...

В мае 1967 г. Яцек Куронь был условно-досрочно освобожден. В июне 1976 г., после того как началась акция помощи репрессированным рабочим и был создан Комитет защиты рабочих (КОР), Яцек был призван в армию — в часть войск внутренней обороны,

расположенную в Белостоке. Обучение проходил как рядовой звания младшего лейтенанта его лишили.

В мае 1977 г., после акции протеста против убийства краковского студента Станислава Пыяса, сотрудника КОРа, Яцек Куронь был арестован вместе с другими членами КОРа. В это время Гая сама руководила действовавшим с самого начала в их квартире «бюро» КОРа.

Яцек (Варшава, следственная тюрьма на Раковецкой):

Здравствуй, моя маленькая, хорошенькая девочка. Снова письма издалека, армия, тюрьма, тюрьма, и это, должно быть, та судьба, которую я себе выбрал. Ну ладно, себе выбрал, но тебе — почему? (...) За ту неделю, что прошла, я понял, обдумал и теперь уже твердо знаю, что я только твоя половина и попросту не умею без тебя жить.

Не перепугайся только. Я эту тюрьму переживу — достойно и хорошо. У меня с этой точки зрения уже сложилась неплохая рутина, а это просто вопрос рутины и ничего больше. Так что я переживу невзирая на то, как долго это получится. Однако из того убеждения, о котором я говорю в этом письме, вытекает лишь один вывод, и на этот раз я не колеблясь сам его извлекаю: мне нельзя, ни в коем случае нельзя делать что бы то ни было, что может меня от тебя отделить. Вот и вся мудрость. Как это случилось, что я ее раньше не выдумал? (...) Когда вернусь, разлуки кончатся раз и навсегда. Не хочу, не хочу, и всё тут. Так выглядит мое решение.

Яцек (26 июня 1977):

Труднее всего вначале, потому что тогда каждое движение, действие, мысль отсылают к жизни, которая идет за воротами, а тоска — постоянно хищная, жаждущая крови. Ритм проходящих дней и недель смягчает напряжение. Надо только как можно быстрее отказаться от ожидания или, иначе, от близкой перспективы. Труднее всего именно этот отказ. Все в тебе жаждет надежды. Жажда надежды так сильна, что на вид здравый разум способен раздувать самые малые искорки и вотвот готов радоваться тому, что ты выходишь. (...) Но это продолжается очень коротко. Вскоре эйфория превращается в муки ожидания. Камера становится залом ожидания, а время пухнет и вздувается. (...) Поэтому надо сразу, в самом начале, перспективу свободы взять в скобки. Известно, что выйду, и даже в самом худшем раскладе, в дающей себя увидеть перспективе, но не теперь. Теперь же я должен жить тут и на этой жизни сосредоточиться.

Яцек (10 июля 1977):

В последнее время меня мучит вопрос ненависти, неприязни, зависти или как там еще назвать злобу на людей. Этот заложенный в нас заряд недобрых чувств, которые отбивают сон или, еще точнее, калечат. Ибо носить в себе злобу на человека — то же самое, что быть искалеченным ненавистью. (...) Мысль о том, что кто-то, кто угодно, может быть попросту таким злым, как другие бывают веселыми, меланхоличными, робкими, умелыми... — такая мысль кажется мне со всех точек зрения отвратительной, грязной. Только затем придуманная, чтобы избавить себя от ответственности за то зло, которое мы делаем.

Однако со страхом, жутким страхом, я открываю это зло в себе. Не то что во мне внезапно пробуждается напряженная, ожесточенная вражда к кому-то. Так бывало уже не раз. Хуже всего и, пожалуй, во мне совершенно ново то, что я не хочу, попросту не хочу этого кого-то защищать, объяснять, растолковывать. (...)

В этот момент уже надо поднять вопрос о мести. О чувстве мести, ибо это прежде всего чувство, а только потом — поступок, освященный нашей культурой. (...) месть отвратительна, это зло зла. Я говорил и не раз писал, что зло не имеет самосущего бытия, потому что никто, если говорить всерьез, не хочет делать зло ради него самого. Люди слушали, читали и очень легко соглашались со мной. И только теперь я вижу, что это неправда, потому что как раз месть — зло самосущее. Ибо она основана на удовлетворении желания делать зло, она не служит никаким благим намерениям.

Гая (16 июля 1977):

...Боюсь уехать, потому что совершенно не могу себе представить, что было бы, если б тебя выпустили, а я узнала бы об этом через несколько часов или дней. Я же завидовала бы всем, кого ты раньше увидел и кто тебя мог увидеть раньше, — наверное, умерла бы от адской зависти.

Яцек (17 июля 1977):

Черед надежде. Потому что никогда нет такого мрака, чтобы в нем не было искорки надежды. (...) Люди, которых я люблю, которым верю и которые существуют независимо от всякого воображения, пустоты, нажима... Ты есть, и благодаря тебе есть моя любовь. (...) Благодаря тебе эта любовь — наша и может охватить многих-многих других, очень близких и дальних.

Раз ты есть, значит, есть и другие люди, есть их лояльность, отвага, добросовестность, доброжелательность. На этом человеческом фундаменте построены Добро, Правда, Справедливость. Они не зависят ни от какой фата-морганы. Они трансцендентны — в том смысле, что не утрачивают своего бытия из-за того, что мы делаем зло, лжем и бываем несправедливы. Однако они человеческие, совершенно человеческие, так как своим бытием обязаны тому, что хоть редко, хоть в мелочах, но мы встречаем людей, делающих добро, говорящих правду, справедливых, и хотим им подражать, и иногда, иногда нам это удается.

Яцека Куроня и других арестованных членов и сотрудников КОРа освободили в июле 1977 г. по амнистии. Во время забастовки на Гданьской судоверфи, 20 августа 1980 г., он снова был арестован, затем освобожден в результате соглашения забастовочного комитета с властями от 31 августа. В ночь на 13 декабря 1981 г., в момент введения военного положения, он был интернирован; в тот же день интернировали сына Куроней. Тремя днями позже была интернирована и Гая.

Яцек (Стшебелинек, 15 декабря 1981):

Опять письмо из тюряги — наша жизнь на войне. На этот раз я, правда, интернирован, но никто не знает, что это значит, лучше и не допытываться. Как обычно, когда я сюда попадаю, начинаю жутко тосковать по тебе, и это бесспорно хорошая сторона всей этой забавы. Благодаря ей наша любовь не становится заурядной, хотя, откуда мне знать, может быть, мы и без этого сумели бы уберечь ее от серости. Не дали нам попробовать. (...) Как получишь это письмо, будешь знать, что можешь мне писать. Ты прекрасно знаешь, что без тебя меня нету. Знаешь, что только от тебя моя радость, сила, жизнь.

Гая (Ольшинка-Гроховская, 19 декабря 1981):

Я не успела выяснить, где ты, а уже сама оказалась в аналогичном положении. (...) Меня взяли в тот момент, когда я вязала тапочки для тебя и Мачека. Ты, наверное, не знаешь, что о покупке тапочек и мечтать не приходится. Оставила спицы и шерсть, а все просьбы и обязанности передала Эве [сестре]. (...)

Яцек, любимый мой, не тревожься обо мне. Здесь легче переждать тяжелые времена — ручаюсь тебе. Я вздохнула с облегчением, когда оказалась в камере. Чувство ответственности меня страшно угнетало, ты сам прекрасно знаешь это состояние.

Яцек (14 января 1982):

Только что получил первую твою открытку — от 19 декабря. Ты прекрасно знаешь, какая это радость, как мне теперь хорошо, красочно, трогательно, весело и печально... Ты знаешь. Тапочки, которые ты вязала, когда за тобой пришли, теперь у меня в камере. Из истории твоей открытки, то есть ее месячного путешествия, содержащей едва лишь два десятка слов, следует сделать вывод, что ты нескоро прочитаешь то, что я тебе сейчас пишу, ну и чем короче буду писать, тем лучше. Такое множество страшно разных вещей хотел бы тебе рассказать, как же так — писать коротко?

Яцек (17 января 1982):

Любить людей можно только тогда, когда любишь того (прости, в этом месте изменю род) — ту одну-единственную. Я глубже всего на свете убежден, что это так. Нужна великая любовь, чтобы любить себя и людей или, если кто предпочитает, потому что это все одно и то же: людей и себя. Только в этой единственной любви можно воистину переживать весь мир как полностью общий с другим человеком. Благодаря этому можно с ним полностью отождествляться, противостоять ему и преодолевать это противостояние на все более высоком уровне.

Гая (Голдап, 31 января 1982):

Не бойся, милый, повторяющихся слов, банальностей, стереотипов. Каждое твое слово я переживаю заново каждый день. Читаю уже знакомое письмо и радуюсь настроению, теплой мелодии, горячим желаниям, которые чувствую за каждым словом, и каждый день чувствую иначе. Иногда, читая, смотрю фильм. Слышу, ощущаю, вижу, как ты со мной говоришь, как горят у тебя глаза, как ты меня обнимаешь. И лишь бы тогда не почувствовать внезапно пустоты, лишь бы позволить продолжаться иллюзии и мягко растаять. Мне случается плакать читая, но плачу я от счастья. Знаю, что прожила с тобой чудесный кусок жизни, и это дает мне силы жить и ждать того, что еще случится.

Гая (Дарлувек, 10 марта 1982):

Какая разница, в Ольшинке я, Голдапе или Дарлувеке? Еще трудней было бы дома, где все наше, но без тебя. Потому-то — правду говоря — я никогда никуда не хотела поехать одна. По своей воле расставаться с тобой? Жизнь и не так не скупится на вынужденные разлуки, прибавлять к этому еще одну — не

может быть и речи. Скажи, ты не любил уезжать от меня? Я так ждала каждый день твоего слова, твоего возвращения. И снова, и снова мы ждем друг друга. Просто трудно поверить, что можно чувствовать себя таким счастливым и по своей воле готовить себе такую участь. Я тебе благодарна, мой единственный, за такую нелегкую жизнь. Ты научил меня жить, равняясь на свои мечты, и найти в этом долг и счастье. Так не хочется стыдиться перед тобой и перед собой, и так хочется заслужить твоего признания, быть твоей радостью.

Яцек (ксива, 28 апреля 1982):

Ну, однако хватит веселиться, теперь я должен немного на тебя поворчать — и все на ту же тему: откуда этот тон тяжелых забот в твоих письмах? Как будто ты пишешь из Освенцима. Пишешь, что всем вам так страшно тяжело — почему? (...) Что вас так, дорогие девушки, гнетет? Я и правда спрашиваю со всей серьезностью и не понимаю. В приличных условиях, с высоким жизненным уровнем, у человека, наконец, есть время, чтобы использовать серое вещество спокойно, и — тут же драма! (...) Попробую понять, что это такое — какая-нибудь эпидемия? У меня есть несколько идей на основе самой переписки.

Начнем с того, что твое письмо всё в настроении «вот-вот выхожу на свободу» (...). Это, конечно, психологическое самоубийство. Если бы я себе хоть когда-нибудь позволил такие мысли, то уже несколько лет назад пошел бы лечиться в закрытое заведение. Ни в коем, совершенно ни в коем случае нельзя переживать свое освобождение. Нельзя!!! Это вовсе не значит, что ты должна настроиться на вечное сидение. Наоборот, как говорят воры: только посадить тебя не были обязаны, а выпустить придется. Ну а раз это у тебя как в швейцарском банке, то не ломай голову. Конкретно мыслить ты должна в категориях: что ты прочитаешь, напишешь, сделаешь — сейчас, послезавтра, в четверг... но тут железный принцип! Не ждать!

Гая (ксива, 15 июня 1982):

Наверное завтра я бежала бы на дополнительное свидание в Бялоленку, но тут палочки Коха или другие еще не опознанные вирусы загородили дороги, баррикады, засеки. Все произошло чрезвычайно быстро, и, к своему удивлению, я приземлилась на больничной койке с капельницей в вене, и завтра будет уже неделя. (...) Марека [Эдельмана] обеспокоил мой кашель, и для очистки совести он поставил [меня] перед рентгеном (...) Вдруг все закрутилось, врачиха-рентгенолог сочла, что снимок

испорчен, сделала следующий, потом еще два, и не было мне спасения. У меня двустороннее воспаление легких с отеками на обеих долях, со сращениями (продолжающимися, видимо, уже 3-4 месяца) на фоне вирусной или туберкулезной инфекции. (...)

Теперь я понимаю, что та слабость, с которой я боролась и которую не могла принять в Дарлувеке (а началось с этапа Голдап—Дарлувек), это была болезнь, которую тамошний врач не лечил, потому что не соизволил взять стетоскоп в руки, хотя я сама ему говорила, что чувствую себя как во время воспаления легких. Теперь придется лежать около полугода; может, удастся перемежить пребывание в больнице поездкой в деревню или же в санаторий. Одно ясно: от этого не умирают. Так что не тревожься!

Яцек (ксива, 7-8 июля 1982):

Потому что когда тебе больно, когда ты страдаешь, то плевать мне на отечество, на все идеи. Не хочу, не хочу, не хочу... А ведь тебе всегда больно, когда меня нет. Правда? Страшно этого хочу и боюсь. (...) Ну и что я, черт побери, должен делать? [Власти предложили Куроню выехать с женой на Запад.] Я подписал бы сотрудничество с ГБ, но ведь этим тебе принес бы несчастье. Может, ты бы меня даже вышвырнула. Девушки предпочитают уланов, а не бухгалтеров... и что мне, маленькому пёсику, с этим делать. Я не родился Дон Кихотом, нет уже ветряных мельниц, а я (...) пытаюсь бороться с драконами.

Яцек (ксива, июль 1982):

Признаюсь тебе, но, пожалуйста, отнесись к этому как... — запутался и теперь уже должен докончить. Речь идет о том, что я не могу тебя пережить — ибо как же жить без смысла. Прости эти бредни (...) ты лежишь у Эдельмана под капельницей, а я вместо одной только радости и хорошего настроения посылаю тебе какие-то бредни о смерти. (...) Я в тебя безумно, посумасшедшему влюблен и (...) каждое слово к тебе переживаю как sacrum. Поэтому, когда я это пишу, то загоняю себя в такое состояние напряжения, а результат ты как раз читаешь. Прости. (...)

Какой странный, прекрасный и нелегкий мир нашей любви. Подумай, как будто все было против нас, а ведь это наше счастье, по-настоящему великое счастье. (...) Что подумают наши внуки — ведь какие-то внуки нам достанутся, — если случайно найдут в старых бумагах это письмо? Сочувствовать

нам будут или завидовать? Поймут ли они вообще что-то из всего этого? (...)

Теперь, пожалуй, пришла пора спокойной старости в нашем Бореке. О, проклятье, как страшно я хотел бы там быть с тобой и чтобы наплевать на городскую связь и другие проблемы общего порядка.

Гая (ксива, 13 июля 1982):

Чудесный мой, замечательный мой, единственный мой. Ты один-единственный во всем мире. Я тут с ума схожу от тоски, а ты велишь мне тебя бросить и заранее раздираешь душу и примериваешься к роли брошенного. Ничего не выйдет, Яцек, ничего не выйдет. (...)

Яцек (ксива, 13 августа 1982):

Вместо ежедневного дневника тебе пишу теперь книгу. Пишу ее все время, сознавая, что это мой разговор с тобой. Начну, однако, с самого главного: в августе получил дополнительное свидание с тобой. Приезжай в любую среду или субботу. (...) Пишешь: ты поставил меня в центре мира. Это правда. (...) Это всё, это наша правда о мире. Так, как мой трактат о любви был о нашей любви. В книге, которая только для тебя, я хочу сделать из нашей правды — правду для всех. На этом основано все мое писание. Открыть миру нашу любовь. И наоборот — заключить весь мир в нашей любви, потому что он — только для тебя.

Гая (ксива, 2 сентября 1982):

Ты такой замечательный, такой чудесный — и из-за этого прямо ненастоящий. Иногда, когда я испытываю потребность говорить о тебе, я отдаю себе отчет в том, что далеко не способна уловить самое важное. (...) Я знаю, Яцек, какой это огромный дар — уверенность в самом близком человеке. У меня эта уверенность есть — знаю, что ты меня любишь, что я для тебя важнее всего, что в любых обстоятельствах ты поведешь себя как можно более мужественно. Пусть бы и у тебя была такая уверенность — я очень этого хочу, насколько легче тогда переносить разлуку, проходящее друг без друга время, найти силы для спокойствия. Жаль, что я не умею колдовать — закляла бы тебя в таком ощущении счастья, в каком ты меня заклял.

Яцек (Варшава, следственная тюрьма на Раковецкой, 5 сентября 1982):

Ну вот и сижу себе в обычном следственном изоляторе. Здесь за десять лет ничего не изменилось. Возвращаюсь сюда время от времени словно к началу пути. Это имеет глубокий смысл — позволяет посмотреть на самого себя. Редко кому дается такая возможность самооценки — или даже принудительность. Снова всё так, как 17 с лишним лет назад, все такое же, только я все-таки уже другой, а то, что между нами, еще прекраснее, больше и солнечней. Чудо. Думаю, что по ряду самых разных соображений мои нынешние обстоятельства лучше, чем те полууголовные отсидки. Конечно, убыло несколько мелких удобств и прибавилось несколько еще более мелких неудобств. Ну и некоторое время мы не будем видеться ни минуты. Собственно говоря, это только и считается, а впрочем, и это не считается, потому что этот час ничего не мог бы ни заменить, ни выровнять. И так наша жизнь — в нас и перед нами.

Гая (больница в Лодзи, 27 сентября 1982):

Испытываю потребность говорить о тебе, а когда это делаю, отдаю себе отчет в том, что мне плохо удается уловить существенное, самое важное, и тогда то, что я говорю, выглядит панегириком и может отпугнуть впечатлительного слушателя. Поэтому я часто отказываюсь от этих попыток, а себя заставляю найти ответ на вопрос, чем ты отличаешься от всех других известных мне людей. Одно знаю твердо: никого не знаю, кто относился бы к жизни с равным твоему чувством нравственной ответственности за себя и свой мир. И такого я тебя люблю, и такого дождусь. Помни, мой милый, хоть бы мне было тяжело и печально — я всегда способна найти радость и силу в тебе. Поэтому не тревожься: выздоровею и уже буду, живя нормально дома, ждать тебя. Когда это наступит, не знаю, моя болезнь сопротивляется лечению, но в конце концов черти ее унесут.

Гая (21 октября 1982):

Знаю, что наша жизнь в нас и перед нами. Мы уже столько раз ждали друг друга, столько раз дожидались, и всегда было и есть все прекрасней, зрелее, полней. Видно, это ожидание — наш великий шанс, и, пожалуй, мы с ним справляемся. У меня во всяком случае такое чувство, что я прожила счастливо огромный кусок жизни, и, глядя назад, я просто побоялась бы что-то менять, разве что подвергла бы себя более сильной обработке. (...)

Любопытство во мне огромное: что перед нами? — а это значит, мой милый, что я здоровею и набираю разбег для нового этапа. До сих пор (разумеется, во время этой болезни) я

жила прошлым, все время обернувшись за свою, за нашу спину. Теперь пробуждается тревога, любопытство о будущем, желание попробовать вкус жизни.

Гая (8 ноября 1982):

Яцек мой единственный, добрый день. Целую твои самые любимые в мире глаза, улыбаюсь тебе. Ничуть обо мне не беспокойся, я медленно-медленно здоровею и, ручаюсь, когда мы будем вместе, буду уже совсем здорова. Может, останутся мелкие неприятности, такие, как невозможность ходить по горам, лыжные забавы или вообще усилия побольше — но это нас будет огорчать, когда придет соответствующее время, ни в коем случае не про запас. (...)

Чем дольше мы вместе, Яцек, тем интенсивней воспринимаем счастье нашей общности, тем больше страх не растратить, не уронить ни минуты, не разминуться. Помогла нам в этом жизнь, судьба, которую мы себе выбрали; благодаря сумасшедшему темпу, постоянным разлукам или опасностям каждая минута вместе приобрела значение, смысл, краски. И мы ждем друг друга, уверенные, что будет еще прекраснее, еще интенсивнее, еще безопаснее.

Яцек (21 ноября 1982):

Добрый день, моя святейшая девочка. Боже мой сладкий. (...) В этом шестом письме что-то ты, доченька дорогая, напутала. Сначала пишешь, что здоровеешь медленно, но систематично. Затем, что этого твоего выздоравливания не учитывает просвечивание, которое «и не дрогнет». А потом — что на основе просвечивания разные коллеги Марека опасались, что ты умрешь (тебе об этом сказал Марек). В первое мгновение я думал, что меня парализует от страха. Однако осознал, что если бы так было, как у тебя написалось, Марек сказал бы тебе, что судя по твоей «картинке» — ты умрешь. А этого он сказать не мог. Ergo, что-то ты, любимая моя, в этом письме перепутала — слава Богу. Только, солнышко мое расчудесное, не огорчись тем, что ты меня перепугала. Как видишь, это я уже себе объяснил, а тот факт, что Марек рассказывает тебе, что было, прежде чем «опасность миновала», уже утешил меня на долгие зимние вечера. (...)

Но прежде всего я тебя люблю. Это невозможно описать или даже назвать, это со мной каждое мгновение, в каждом дыхании — и тогда, когда бывает мрачно, а мрачно бывает, и тогда, даже в первую очередь тогда, когда солнечно. Потому что благодаря тебе солнце светит даже в пасмурные дни. Пока. Я.

Этого письма Гражина Куронь уже не прочитала. 22 ноября Яцека перевезли из тюрьмы в больницу в Лодзи, где лежала Гая. Они провели вместе целый день, но вечером Яцека забрали в тюрьму. Гая умерла в ночь на 23 ноября 1982 года. «Я лежал на койке и молился. Чувствовал, как тяжело Гайке дышать и просил Господа Бога позволить мне дышать с нею. И Бог меня услышал, я это чувствовал. Я старался набирать как можно больше воздуха, но было все хуже и хуже. А потом все перестало у меня болеть. Это был тот час, в который моя Гайка умерла» (Яцек Куронь, «Будь спок, или Квадратура круга», Варшава, 1992).

Выбрали и подготовили к печати **Моника Капа-Тихоцкая** и **Катажина Пухальская**

КТО РАССТРЕЛИВАЛ БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН?

Чтение текста Станислава Куняева "Кто расстреливал белорусских партизан?", опубликованного в журнале "Наш современник" (2004, №12) ошеломило меня. Степень исторического невежества автора в области, которую он затрагивает - дезориентируя при этом русского читателя просто поразительна. Общий тезис, который он выдвигает в своей полемике с польскими авторами - прежде всего со статьей Петра Мицнера "Интернированные союзники" ("Новая Польша", 2004, №2), сводится к утверждению, что репрессии против бойцов Армии Крайовой, проводившиеся советскими органами безопасности, вступавшими в 1944 г. на земли Второй Речи Посполитой, были по сути дела вполне обоснованными, так как эти бойцы не были "союзниками и товарищами по оружию" антигитлеровской коалиции, но "сотрудничали" с немцами. Это "сотрудничество" заключалось якобы в том, что партизаны АК вступали с немцами в договоренности, направленные против Советского Союза - который, как мы помним, в июне 1941 г., после нападения на него армий Третьего Рейха, внезапно перестал быть союзником Гитлера (в понимании международного права) и агрессором по отношению к Польше и превратился в участника антигитлеровской коалиции. Спор о числе репрессированных польских партизан и количестве среди них генералов становится в этот момент второстепенным. В своих рассуждениях г-н Куняев ссылается на краткую анонимную заметку из немецкого еженедельника "Шпигель" (2000, №19), в которой сжато изложено сообщение немецкого историка Бернгарда Кьяри, опубликованное в журнале "Остойропа" и касающееся, в частности, польско-германско-советских отношений на довоенных польских восточных землях. Как следует из заметки в "Шпигеле", "согласно документам, обнаруженным в одном из московских архивов" (!), подчинявшаяся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне Армия Крайова, сражаясь на оккупированных территориях с немцами, эпизодически вступала в сотрудничество с подразделениями СС и Вермахта - во имя борьбы против большевизма.

Однако важнее самой заметки из "Шпигеля" стал комментарий к ней, написанный г-ном Куняевым. Он пишет о многочисленных документах, находящихся в российских архивах и касающихся этих противоречивых польсконемецко-советских отношений. Г-н Куняев заявляет, что лишь теперь понял, почему о польских военнопленных в СССР, захваченных в 1944–1945 гг., т.е. бойцах Армии Крайовой, поляки до сих пор "молчали". В соответствии с его истолкованием, польские историки не хотели выявлять правду о бойцах АК, которым Сталин определил заслуженное наказание за коллаборационизм с немцами, а советские историки молчали, чтобы "не разрушать "единство социалистического лагеря"".

Трудно представить себе, что такие мысли может высказывать человек, живший во времена "реального социализма" в пределах "социалистического лагеря", где вообще не могло идти речи о независимых научных исследованиях в области новейшей истории. Гораздо существеннее то, что если бы г-н Куняев действительно интересовался сложной проблематикой польско-немецко-советских отношений во время II Мировой войны, ему не пришлось бы в качестве главного аргумента использовать заметку из "Шпигеля" (содержания которой он, по-видимому, несмотря на ее краткость, просто не понял). После 1989 г. в Польше, Белоруссии и Литве появился ряд публикаций, посвященных различным аспектам деятельности Армии Крайовой. Первую монографию об истории Виленского округа АК написал историк из Вильнюса Ярослав Волконовский (этот автор значительное место уделяет польско-немецким переговорам с участием полковника Кшижановского). Сообщали о них и польские историки Петр Нивинский и Лонгин Томашевский в своих работах, посвященных действиям Армии Крайовой в Виленском крае. Конфликту между отрядами АК и советскими партизанами на территории сегодняшней Белоруссии посвящена и книга историка из Минска Сигизмунда Бородина ("Неман - река раздора. Польскосоветская партизанская война в 1943-1944 гг. ", Варшава, 1999, по-польски). Отношения между Армией Крайовой, советскими партизанами и немцами на этой территории рассматриваются в нескольких главах монографии автора этой заметки ("На Новогрудской земле: "НУВ" - Новогрудский округ АК", Варшава, 1997, по-польски). В этой последней работе были опубликованы важные документы, относящиеся к польско-немецким отношениям. Таким образом, о теме, вызвавшей такое возбуждение г-на Куняева, уже давно не "молчат", а основные сведения и материалы годами используются в научной литературе. Уже в середине 90-х эту тему чрезвычайно

объективно осветили белорусские историки и архивисты Александр Хацкевич и Григорий Бялкевич. Если же г-н Куняев предпочитает пользоваться литературой на немецком языке, то следовало бы проинформировать его, что три года назад появилась коллективная монографии под редакцией столь уважаемого им Бернгарда Кьяри "Польская Армия Крайова. История и миф Армии Крайовой со времени II Мировой войны" (Мюнхен, 2003, по-немецки), где Петр Нивинский, Сигизмунд Бородин и автор этих строк уделяют значительное внимание нескольким единичным случаям кратковременных переговоров между некоторыми отрядами АК и немцами. Из тщательного анализа документального материала следует, что эти переговоры были начаты по инициативе немецкой стороны, однако не привели ни к заключению каких бы то ни было соглашений, ни к "коллаборации" между АК и немцами. По данным белорусских историков А.Хацкевича и Г.Бялкевича, опубликованных ими в 1995 г., в июне 1944 г. немецкие разведслужбы в рапорте, направленном в штаб Группы армий "Центр", сообщали: "В результате тщательного анализа сложившейся ситуации можно прийти к заключению, что заключение договоренностей с польскими бандами принесет Вермахту больше вреда, чем пользы, которую мы извлекали до настоящего времени из их действий". Известен случай, когда офицер АК, принявший немецкое предложение о проведении переговоров, был приговорен трибуналом АК к смертной казни. Что касается переговоров, которые велись полковником Кшижановским, то следует подчеркнуть, что из-за содержания польских требований: прекратить военные действия и карательные операции и освободить пленных - они ничем не закончились. Якобы выраженная поляками "готовность оказать... помощь Гитлеру", о которой вслед за "Шпигелем" пишет г-н Куняев, - это не что иное, как немецкие ожидания, которые так никогда и не сбылись. Упомянутые эпизоды польско-немецких переговоров, фактически касающиеся горстки бойцов АК, не имели никакого значения для боевых действий АК в целом - Армия Крайова в то время была военной организацией, насчитывающей более 400 тысяч бойцов. В 1944 г. в партизанских отрядах АК в рамках операции "Буря", проводившейся на востоке Польши, с оружием в руках против немцев сражалось более ста тысяч человек, а в Варшавском восстании - около 50 тысяч. Впоследствии почти все уцелевшие были разоружены Красной Армией. Многих из них отправили в лагеря вглубь России или подвергли иным репрессиям. Чрезвычайно важно, чтобы российские читатели знали, что летом 1944 г. перед лицом решительной позиции, занятой западными союзниками, даже гитлеровская Германия соблюдала права бойцов АК как солдат действующей армии,

наделяя их статусом военнопленных, тогда как в СССР вопреки международному праву к ним относились как к уголовным преступникам.

Совсем необязательно искать ответ на вопрос, кто несет ответственность за кровавый конфликт между советскими партизанами и Армией Крайовой, в журнале "Шпигель". Его можно найти в российских архивах, в директивах политического руководства советского партизанского движения. 22 июня 1943 г. ЦК КП(б) Белоруссии разослал всем подпольным центрам закрытое письмо ("О военнополитических задачах работы в западных областях БССР"), в котором предлагалось всеми средствами вести борьбу с польскими националистическими отрядами и группами (а именно так большевики рассматривали отряды АК). И действительно, использовались все средства - от вероломного разоружения тех отрядов АК, у которых были заключены официальные договоренности о сотрудничестве с советскими партизанами (партизанская бригада АК под командованием "Кмицица" на озере Нарочь в августе 1943 г., Столпецкая группировка АК в Налибоцкой пуще в декабре 1943 г.), засады и нападения на отряды АК, внедрение агентов и ликвидация подпольных структур АК, анонимные доносы немцам на членов АК, применение массового террора по отношению к населению, поддерживающему АК (например, карательная операция в городке Налибоки в мае 1943 г., а также в деревнях: Конюхи - в январе, Лугомовичи, Изабелин, Качаново, Бабинск, Провжалы в феврале, Щепки и Невонянцы - в апреле, Камень - в мае 1944 г.).

Упоминавшийся выше белорусский историк Сигизмунд Бородин так оценивает характер и причины польскосоветского вооруженного конфликта на территории сегодняшней Белоруссии: "Вина за развязывание конфликта между АК и советским партизанским движением в Новогрудском районе лежит на последнем. Именно оно выполняло директивы руководства СССР, направленные на то, чтобы как можно быстрее ликвидировать Армию Крайову на восточных территориях, принадлежавших до войны Польше (...) как силу, которая могла противостоять агрессивным планам СССР. (...) Нетрудно заметить, что обострение польскосоветского конфликта в Новогрудском регионе тесно связано с этапами "решения польского вопроса" руководством Советского Союза. (...) Переход к прямым военным действиям (...) произошел в тот момент, когда Москва знала, что США и Великобритания готовы согласиться, чтобы Польша вошла в сферу советских интересов. (...) Таким образом, действия

Барановичской группировки советских партизан против АК не были реакцией местного советского командования, но выполнением директив руководства СССР по "польскому вопросу"".

Беда в том, что г-н Куняев не желает опираться ни на советские архивные материалы, ни на какую-либо серьезную научную литературу, а свой образ польско-немецко-советских отношений основывает главным образом на лозунгах прежней коммунистической пропаганды, правильность которых призвана подтвердить малюсенькая заметка из "Шпигеля" (трудно ожидать, чтобы не разбирающийся в том или ином вопросе читатель формировал свои взгляды на основе обсуждения анонимной заметки, содержащей менее 20 фраз, однако г-ну Куняеву этого оказывается совершенно достаточно).

Куняев в своем тексте передергивает факты не только в принципиальных вопросах, но и в мелочах. Стоит обратить внимание на два снимка, иллюстрирующие заметку в "Шпигеле". На одном из них мы видим командующего Виленским округом АК подполковника Александра Кшижановского (подпольная кличка "генерал Волк") в довоенной форме Войска Польского, а на другом - группу людей в военной форме с трудноразличимыми знаками отличия, расстреливающих нескольких стоящих на коленях гражданских лиц. Общая подпись гласит: "Казнь во время II Мировой войны". В своем комментарии Куняев безапелляционно утверждает, что это "белопольские" партизаны (т.е. бойцы АК) расстреливают "белорусских партизан", а награда на груди у подполковника Кшижановского - это якобы немецкий "железный крест". В действительности же на груди у офицера мы видим польскую военную награду крест "За отвагу", который он получил за мужество, проявленное в войне с большевиками в 1919-1920 гг., а вовсе не немецкий "железный крест"! Что в действительности показано на втором снимке - сказать трудно из-за неразличимости самой принадлежности военной формы. Можно полагать, что в польско-советском партизанском конфликте на территории теперешней Белоруссии погибло около тысячи советских партизан. Однако в несколько раз больше людей в масштабе всей Белоруссии было расстреляно "спецотрядами" советских партизанских бригад (представлявших собой ячейки НКВД и НКГБ) в рамках "чистки" своих рядов от "ненадежных элементов". Быть может, именно это обстоятельство и представляет собой частичный ответ на вопрос, заданный гном Куняевым? Русские читатели должны также знать, что

гораздо чаще, чем большевики, перед дулами винтовок польских партизан оказывались гитлеровцы, виновные в преступлениях против гражданского населения.

Казимеж Краевский - историк, научный сотрудник Института национальной памяти.

К ИСТОРИИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Вопрос о судьбе красноармейцев, взятых в плен польской армией в 1920 г., стал устойчивым элементом кампании, направленной на возбуждение у русских ненависти к Польше и полякам. Стоит напомнить, что эта кампания развернута в ответ вовсе не на какую-то якобы имевшую место ложь и оскорбления с польской стороны, а на простое требование извлечь гласные правовые последствия из памятного, заслуживающего уважения акта высших российских властей. Президент Российской Федерации Борис Ельцин вручил исторические документы - в том числе постановление политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года - президенту Польши Леху Валенсе, торжественно подтвердив, что польские офицеры, интернированные в Старобельске, Козельске, Осташкове, были казнены весной 1940 г. по приказу Сталина. Тот, кто пытается это опровергнуть, обвиняет во лжи российское руководство, российское право, российскую историю.

В этом духе действуют и авторы, утверждающие, что Катынь была лишь отместкой полякам за истребление советских военнопленных в 1920 году. Некоторые из них доходят до 80 тысяч уничтоженных в плену красноармейцев, что почти равняется общему числу взятых в польский плен, которое (с небольшой разницей) называли оба главнокомандующих - и Пилсудский, и Тухачевский (эти цифры можно найти в польском издании отчетов о кампании их обоих, изданном по указанию Пилсудского).

Такие высказывания мы с горечью вынуждены признать частью кампании дезинформации, имеющей целью изгладить из памяти русских катынское преступление. И, к сожалению, эта операция продолжается.

Ни в коем случае не отрицая мук и унижений пленных красноармейцев в Польше, мы констатируем, что одно не подлежит сомнению: в 1920 г. в Польше их не убивали умышленно и по плану. Здесь не может быть никакого сравнения с плановым и буквальным истреблением, предпринятым по решению политбюро ЦК ВКП(б) в марте 1940 г. по отношению к интернированным польским офицерам, по преимуществу призванным в армию из запаса и принадлежавшим к интеллигенции. Тот же план

гильотинирования народов Сталин применял к своим собственным подданным - чувашам, украинцам, наконец самим русским.

Здесь не требуется никаких споров о цифрах, даже о такой, как приведенное Анджеем Новаком число 65 797 пленных красноармейцев, вернувшихся из польского плена в результате послевоенного обмена. Дадим слово личным свидетельствам.

Вот красноречивый случай, приведенный в дневнике выдающегося польского писателя и историка Павла Ясеницы:

"Сейчас я внимательно читаю печатающиеся в "Войсковом пшеглёнде хисторичном" воспоминания генерала Ежи (Георгия) Бордзиловского. В 1920 году он служил в Красной Армии. Попал в польский плен. Колонна военнопленных оказалась в серьезной опасности, когда ее заметили какие-то казаки, которые перед тем перешли на сторону войск Пилсудского. Они уже собирались атаковать и рубить, когда по приказу унтер-офицера, командовавшего конвоем, познанские пехотинцы-конвоиры взяли оружие наизготовку, чтобы в случае необходимости дать залп в толпу союзников, и это - защищая безбожных коммунистов, красных большевиков, военнопленных, охраняемых законом.

Этот отрывок из генеральских мемуаров хорошо совпадает с моими собственными воспоминаниями.

Каждый волен так или иначе оценивать киевский поход Юзефа Пилсудского. На мой взгляд, это была попытка вернуть Европу в истерзанные края".

Ежи Бордзиловский вернулся из польского плена в советскую Россию. Стал офицером Красной Армии, а в 1944 г. уже в чине генерала был делегирован в Людовое Войско Польское [польская прокоммунистическая армия, создававшаяся на территории СССР в 1943–1944 гг.], где занимал всё более высокие посты вплоть до начальника Генерального штаба (1954–1965). Он оставался последним советским офицером польской армии до 1968 г., когда вернулся на свою советскую родину.

Добавим, что, как нетрудно заметить, он избежал печальной судьбы многих других красноармейцев, вернувшихся в 1920 г. из польского плена. Значительная их часть погибла в 1937–1938 гг., осужденная пресловутыми "тройками" (ОСО) как раз за то, что им удалось без ущерба вернуться из польских лагерей; этих коренных русских обвиняли в принадлежности к... тайной польской организации ПОВ, якобы действовавшей тогда в СССР.

Доказательством могут служить хотя бы документы, обнаруженные майором КГБ Олегом Закировым в архивах смоленского УКГБ (см. публикацию его воспоминаний в N^0 и 12 "Новой Польши" за 2005 год и в N^0 4 этого года).

Чтобы окончательно выполоть на нашем общем поле сорняки дезинформации, намеренно затемняющей смысл этой горестной истории, приведем один яркий пример.

В №11 нашего журнала за 2001 год мы напечатали воспоминания одной из таких жертв "большой чистки" комиссара РККА Подольского (Н.А.Валдена), присланные нам его дочерью Натальей Подольской, заслуженной переводчицей и писательницей. Текст воспоминаний изобиловал жуткими описаниями мук и страданий пленных красноармейцев в польском плену в 1920 г, но в то же время явно показывал, что поляки не совершили и не планировали их массового истребления. В журнале "Наш современник" (2002, №5) его главный редактор Станислав Куняев обвинил "Новую Польшу" в манипуляции и сознательном искажении опубликованного текста. Наталья Подольская решительно опровергла это обвинение ("Новая Польша", 2004, №3), доказывая, что наша редакция не изменила ни слова в тексте, который она нам прислала по своей инициативе. Дочь автора лишь сократила для нашего тонкого ежемесячника большое повествование (помещенное в 1931 г. в "Новом мире" и в Польше практически недоступное), ни на йоту не изменив ни оценки описанных событий, ни политического звучания отцовских воспоминаний. Обвинять наш журнал в том, что мы поместили эти горькие, неприятные для польского самомнения и поразительно правдивые отрывки из воспоминаний военнопленного, а не весь текст целиком, оскорбительная нелепость. В своей статье Н.Подольская привела ряд выдержек из воспоминаний отца, свидетельствующих о нередких проявлениях сострадания польского окружения к советским пленным. Она с возмущением оценила обвинения "Нашего современника" как не только ни на чем не основанные инсинуации, но и сознательную дезинформацию, натравливающую русского читателя на Польшу и поляков.

Мы считали, что тем дело и кончится и что сочиненьице Куняева "Шляхта и мы" - всего лишь выпад патологического клеветника. Однако, к нашему изумлению, то же самое, уже опровергнутое обвинение в манипуляции воспоминаниями Подольского появилось - притом как главный довод - в статье известного историка Геннадия Матвеева, напечатанной в

московском журнале "Родина" (2004, №7). Автор приводит примеры мнимых искажений текста... редакцией "Новой Польши" (приводя, как правило, только отточия, т.е. доказательство сокращений) и совершенно не принимает во внимание свидетельства Натальи Подольской. При этом, подчеркнем, сам он пишет, что "Новую Польшу" продолжает получать. Разочаровался же он в журнале лишь после описанного случая (т.е. после публикации трехлетней давности, которую почему-то вспомнил теперь); в остальном он, видно, не нашел доказательств нашей русофобии. Выбирая одно из двух предположений: или господин Матвеев повторяет инсинуации Куняева с той же клеветнической целью, или он стал жертвой незнания и небрежности, – мы предпочитаем склониться ко второму из них, хотя историку такие методы работы и не к лицу.

Мы ждем, что профессор Матвеев исправит свою ошибку на страницах того же журнала, в котором он выдвинул ни на чем не основанные обвинения против "Новой Польши".

ИЗ ИСТОРИИ РАДИО "СВОБОДНАЯ ЕВРОПА"

"Главной, первостепенной задачей нашей радиостанции было восстановить чувство общности, – писал в своих дневниках Ян Новак-Езёранский. – Второй задачей было поддержать надежду. В самые черные годы сталинизма, в годы всевластия ГБ, репрессий, искажения истории и молчания польская служба радио "Свободная Европа" давала полякам ощущение, что гдето всетаки есть люди, которые знают правду и публично говорят о ней, что преступления системы будут названы своим именем, а преступников когда-нибудь постигнет справедливое наказание..."

Так Ян Новак-Езёранский оценивал роль и задачи радиостанции, которая впервые вышла в эфир как "Голос свободной Польши", а 3 мая 1952 г. в 11 часов утра начала транслировать свои передачи из Мюнхена. "Свободная Европа" была родной сестрой хорошо знакомого читателям "Новой Польши" радио "Свобода".

Какие темы, какие проблемы с сегодняшней точки зрения были самыми значительными в истории польской службы радио "Свободная Европа"? Пожалуй, польскую (а скорее пээнэровскую) политическую сцену больше всего изменил цикл передач с участием Юзефа Святло - одного из высших чинов госбезопасности.

17 сентября 1954 г. Ян Новак получил информацию о бегстве Святло из Польши и первую пленку с его признаниями. Вскоре после этого Новак послал в Вашингтон Збигнева Блажинского, после чего в эфир начали выходить передачи из цикла "За кулисами госбезопасности и партии". Святло описал, как после войны уничтожали Армию Крайову, как преследовали, сажали и убивали невинных людей, при каких обстоятельствах был арестован кардинал Вышинский. Именно эти передачи решающим образом повлияли на ликвидацию министерства госбезопасности и смещение с должностей, а иногда даже арест и наказание преступных функционеров ГБ, таких как директора департаментов Ружанский и Фейгин, замминистра Ромковский и другие. Террор ослаб, жертвы гэбистов вышли на свободу, готовился бунт внутри партии. Вскоре наступил 1956 г. и "польский Октябрь". Началась совершенно другая эпоха.

Другой крупной акцией радиостанции стала начавшаяся в июле 1955 г. кампания "За возвращение поляков из России". В то время из советских лагерей стали выпускать немецких военнопленных, и речь шла о том, чтобы рассказать полякам, где находятся их отцы, сыновья и братья, живы ли они, куда их вывезли. У бывших пленных спрашивали фамилии их польских лагерных товарищей. Таким образом польская общественность узнала, как выглядят лагеря и где они находятся.

Согласно основным установкам, разработанным Яном Новаком к открытию радиостанции, одной из главных ее задач была защита Церкви и преследуемых режимом священников. Огромную роль сыграло также разоблачение католической организации "Пакс", во главе которой стоял агент ГБ Болеслав Пясецкий, а впоследствии – разоблачение министра внутренних дел Мечислава Мочара. Именно "Свободная Европа" многократно описывала созданную им в органах госбезопасности мафию. В 1968 г. польская служба "Свободной Европы" вновь поднялась на защиту правды, на защиту студентов, изо всех сил борясь с проявлениями расизма и антисемитизма. А четырьмя годами раньше благодаря радиостанции поляки узнали о бунте интеллигенции и деятелей культуры, о "письме 34-х".

Когда в Польше начала действовать подпольная антикоммунистическая оппозиция, когда появились бюллетени, книги и журналы, радиостанция стала "трансляционным конвейером", благодаря которому информация и тексты становились достоянием широкого общественного мнения. Информирование о программе "Солидарности" стало очередным, быть может, самым важным элементом деятельности "Свободной Европы".

К предельно кратко описанной здесь роли радиостанции в истории Польши можно добавить еще один момент - создание поля деятельности для польской национально- освободительной эмиграции и ее выдающихся авторов.

Вот какому радио положил начало Ян Новак-Езёранский 3 мая 1952 года. Его концепция независимой радиостанции пережила годы. Мы, бывшие сотрудники радио "Свободная Европа", обязаны ему участием в важнейших исторических событиях, в борьбе за свободу Польши. Кроме того благодаря ему, создателю радио, в Мюнхене работали (или выступали у микрофона) самые выдающиеся деятели эмигрантской культуры. В их число входил, в частности, Тадеуш Новаковский.

Поляки знали Новаковского прежде всего как "папского репортера", который сопровождал Святейшего отца в путешествиях по всем континентам. Он работал в польской службе радио "Свободная Европа" с первого дня ее выхода в эфир.

Новаковский был типичным политическим эмигрантом, которого ПНР объявила "врагом народа". В Польше на протяжении нескольких десятков лет его книги были запрещены. В 1981 г. на его имя был наложен запрет цензуры, в результате чего его можно было упоминать только в малотиражных научных изданиях. И все же редакция "Тыгодника повшехного" взяла у него интервью в Париже, и все же у приемников собирались миллионы радиослушателей, а его литературные произведения нелегально переправлялись в Польшу. И когда спустя многие годы ему наконец удалось приехать на родину, он оказался там широко известной личностью, несмотря на десятки лет физического отсутствия. Быдгощ и Ольштын присвоили ему звание почетного гражданина, а Лех Валенса наградил его командорским крестом ордена Возрождения Польши со звездой.

Однако Новаковский был не только писателем и журналистом, но и очень активным эмигрантским деятелем. В свое время он исполнял обязанности председателя польского ПЕН-клуба в изгнании. В Лондоне он стал секретарем Всемирного союза поляков за границей и Союза польских писателей на чужбине. В Германии он до последних дней жизни был председателем мюнхенско-варшавского Общества немецко-польского примирения и Польского форума, а в ставшей ему почти родной Баварии - председателем Союза польских организаций. Он удостоился многочисленных польских (эмигрантских) и европейских премий. Среди последних он особенно высоко ценил премию им. Карла Вольфскеля, присуждаемую Баварской академией изящных искусств творцам-эмигрантам, писателям в изгнании. В обосновании своего решения Баварская академия написала, что Новаковский -"европейский боец за согласие народов", а laudatio произнес известный во всей Германии литературный критик Марцелий Рейх-Раницкий.

Приехав в Германию в начале 50-х, Тадеуш Новаковский вошел в элитарные, влиятельные круги писателей, людей искусства и политиков с антикоммунистическими и антитоталитарными взглядами, которых объединяла уверенность в том, что необходимо строить общую Европу, Европу без национальных и расовых разделений. В число друзей Тадеуша входили люди,

чьи имена с течением времени стали широко известны – такие, как председатель западногерманского ПЕН-клуба Карл Амери или родившийся в Польше узник советских лагерей, писатель Хорст Бинек. Сам Новаковский сотрудничал не только в эмигрантской, но и в немецкой печати, а также на телевидении, благодаря чему он мог быть неофициальным выразителем польских интересов в Германии и влиять на мнение о нашей стране.

Помимо Тадеуша Новаковского в польской службе "Свободной Европы" работали, в частности, Марек Латынский, Петр Заремба, Ядвига Мечковская, Марек Цельт и многие другие польские журналисты, которым радиостанция обеспечила возможность жить в эмиграции и обращаться к польским радиослушателям. То, что с помощью микрофонов радио "Свободная Европа" эти люди остались в памяти поколений - еще одна заслуга Яна Новака-Езёранского.

Алина Перт-Грабовская - председатель Общества бывших работников польской службы радио "Свободная Европа".

СТИХОТВОРЕНИЯ

Faux pas

я позвонил но сюда не звонят
я постучал но сюда не стучат
я вошел хотя сюда нет хода
я открыл но этого не открыть
я вытер ботинки да только зачем все это
я раскрыл рот но ведь здесь и рта не раскроешь
я вдохнул воздух но здесь никто не дышит
я спросил но здесь не задают вопросов
тогда я запел но здесь не поют
я повернул назад но отсюда нельзя вернуться
и вышел но как я мог отсюда выйти
что за место думал я но это не место
что за время но это вовсе не время
я говорю я был только этого быть не может

Суд

Судить невзошедшее зерно

неразумно

Судить нешумевшее дерево

смехотворно

Судить человека сломленного

бесчеловечно

Это вас облачённых в тоги вправе судить

зерно невзошедшее дерево нешумевшее сломленный человек

Карабин

говорю напрямик от сердца к мозгу если заест выбиваю зубы за слово дело моей головы чуять руку мои глаза вне меня я хорошо это вижу

Неприкосновенный запас

один меня убил во имя мира другой во имя войны

третий не успел меня убить потому что я убил его четвертого я не убил оттого что он уже был убит пятый меня не убил потому что я был убит вместе с ним все дальше спасательный круг любви сердце смерти гонит волну отделяя горло от крика вот-вот оно вытолкнет мир на поверхность и выдаст ему сполна

неприкосновенный запас дна

P.S.

но пока:

разноцветье вечеров

множится вопреки единому натиску непроницаемого лика ночи и рой огней улетает без матки

Эпитафия

он жил как человек

то плакал как ангел

то смеялся как дьявол

впрочем о дьяволе он не имел понятия

быть ангелом никогда не стремился

а до человечности ему и вовсе не было дела

ближе всего он был

к делам далёким и поэтому

не опоздал

должно быть

он верил в любовь

вот только поверил в неё слишком рано

говорят

он не любил ненавидеть

только понял это слишком поздно

на всякий случай

подумайте в эту минуту

о чём угодно

и на всякий случай

преклоните

одно колено

Отсутствие знака альтернативы

несгораемый стыд воздуха:

факты содраны с кожей

с истины столь нагой

что нам всё больше есть

о чём не говорить

Все переводы приводятся по книге: Т.Карпович. «Урок тишины» Польская поэзия: XX век. Антология: В.Шимборская, Я.Твардовский, З.Херберт, Т.Карпович, Т.Глюзинский. М.: Вахазар, 1993. (Коллекция польской литературы; Поэтическая серия; Т.3).

ПЕРВОРОДНЫЙ СЫН МИРА НА ULTIMA THULE

Утопия? Да! Но никакой реалист не выживет без утопии. И никакой народ тоже.

Т. Карпович. «Творческое отрицание»

В «Эпитафии древнеславянского поэта» Миодрага Павловича (в 1970 е, когда его переводил на польский Тимотеуш Карпович, он был еще «югославским поэтом») звучат слова, которые легко перевести из надгробно-прошедшего времени в регистр мрачного пророчества:

За наши старинные песни

эта новая вера

объявила меня изменником и врагом. (...)

В горе ушёл я и погребён во мраке,

меня колдуном объявили,

но не восстал я из гроба! (...)

Я останусь там, где я есмь,

в земле языка моего (...).

Пусть другие идут к богу за истиной,

а мне хороша и моя колдобина,

тут земля — как руно,

кости мои в ней тайком прорастают песнями.

Я заявляю, что это пророчество — схема дальнейшей судьбы Тимотеуша Карповича: оно сбывается в 70 е годы. Родившийся в 1921 г. Мастер Польской Речи (как назвал его Рафал Воячек в посвящении к книге «Бесконечный крестовый поход») к тому времени уже был автором многих поэтических сборников: «Живые измерения» (1948), «Горькие истоки» (1957), «Каменная музыка» (1958), «Знаки равенства» (1960), «Во имя

смысла» (1962), «Трудный лес» (1964). В духе названия последней книги можно сказать: чем дальше в лес, тем труднее. Очередные книги Карповича — все более отчаянное и темное странствие к Праматеринскому началу, его автономия становится все более мучительной автохтонностью. Мягкий переход с этапа монодии через канон к фуге — как на музыкальный лад назвал Станислав Баранчак процесс нарастания многозначности в поэзии Карповича — вдруг ускользает от логических истолкований, когда в 1972 г. выходит сборник, неподвластный никаким терминологическим ухищрениям критики — «Возвращенный свет». Темный колорит поэзии Карповича год спустя был дополнен его восхитительно мрачным теоретическим трактатом — «Невозможная поэзия. Модели лесьмяновского воображения». Карповича, этого словесного чернокнижника (то есть автора черных книг), правда, не называли тогда «отщепенцем и врагом», однако среда читателей-критиков нанесла ему удар гораздо более ощутимый: о нем перестали писать. Вскоре после этого славянский поэт навсегда покинул родину, чтобы по сей день, до тех самых пор, когда я пишу эти слова, пребывать в своей «хорошей колдобине», где «земля — как руно» — в далеком Чикаго.

* * *

Какие же слова на его устах «в эту минуту» (если воспользоваться названием стихотворения из книги «Задревесные слои», изданной в 1999 году)? «В эту минуту» польской литературной общественности задан ряд вопросов от имени Мастера. Збигнев Махей в своих «Воспоминаниях о современной поэзии» (Вроцлав, 2005) записал их в форме «Анкеты Карповича». Слишком много времени прошло с тех пор, как поэт — якобы!!! — умолк и его произведения начала замалчивать критика, поэтому вопросы Махея вызывают удивление, непонимание, а то и смущение. «А как нынче читают нынешние стихи? / И как нынче пишут о нынешней поэзии? (...) О ком говорят высоким / тиражом? О ком говорят высоким стилем? (...) Кому дают «Нику» / а кому — фигу с маком и пастернаком? / Любит ли Тимотеуш Карпович фиги с маком? / Читал ли он Пастернака? (...) Сколько строк в статье "Карпович" в "Новой / энциклопедии ПВН [Польского научного издательства]"? Отведено ли ему то количество строк, которого он заслуживает?».

Вопрос о количестве строк применительно к нынешнему восприятию творчества Карповича (в энциклопедии их 22 — гораздо меньше, чем в поэме Махея) следует заменить

вопросом о горьких истоках отсутствия самого восприятия. Пророческий ответ дан самим поэтом, который в эссе «Невозможное искусство» («Одра», 1976, №12) описал творческие усилия доисторического художника и ошибки в позднейшем понимании его замысла. Тысячи лет назад на скале было изображено животное с восемью ногами. На эту картинку современный человек смотрит свысока — как на пример ошибки или беспомощности примитивного пещерного человека. Между тем Карпович видит в этом наброске, сделанном в незапамятные времена, когда культура только проклевывалась из натуры, первую попытку осуществления творческой утопии. Дикарь-художник хотел нарисовать бегущее животное, именно поэтому — сознательно фантазируя, а не по ошибке или недосмотру — наделил его четырьмя дополнительными конечностями. Доисторический художник немногим отличается от мифического Пигмалиона, который желал стереть грань между предметом и его изображением. Более того, согласно Карповичу, всякий подлинный артист обязан подчиниться извечному богоборческому стремлению, которое велит предпринимать всё новые попытки оживить то, что является лишь искусственным отражением жизни. Коснуться нарисованного, дотронуться до написанного — вот призвание каждого, кто понял, что творить — это значит вечно преодолевать Невозможное, во всяком творческом акте достигать новых пределов, завоевывать новые плацдармы.

Артист из первобытной пещеры оказывается неожиданно похож на поэта, который его описывает. Карпович знает, что к «Ultima Thule поэтических возможностей» можно приблизиться лишь отчаянным порывом, в одиночку, что охота на древние слова оплачена спуском в слепоту ясновидения, а за то, что ты «возвратил» свет, тебе грозит тюрьма, стены которой — спины отвернувшихся просвещенных людей. Поэт осознаёт и то, что вопреки пророчествам о сверхвыразимости, которая будто бы ждет нас в земле обетованной, мы найдем там лишь то, что ведали искони: первородный грех невыразимости. Он делится этим знанием с читателями, однако немногие из учеников соглашаются принять это горькое причастие. Карпович, как до него польский поэт Лесьмян или русские будетляне во главе с Хлебниковым и Крученых, жаждет привести поэтический язык к горьким словесным истокам, к точке уже даже не нулевой, а преднулевой. Как сам он пишет о Лесьмяне, дело в том, чтобы поэт хоть на мгновенье стал «первородным сыном мира», высказал «пренатальное заклятье» и наконец попытался «показать движение, предшествовавшее первому движению,

форму, предшествовавшую первой форме, чувство, предшествовавшее первому чувству».

Эта «пренатальность» языка у Карповича весьма знаменательна. Здесь речь идет не об упрощении представления, а напротив — о его максимальном, прямо-таки невозможном усложнении. Подобно тому, как художник из первобытной пещеры был автором не грубых, неумелых штрихов, а образа животного — умноженного, усложненного и оттого, как в современном мультфильме, движущегося — Карпович не ищет первородного выражения среди таких форм, как «бедный театр» Гротовского, преддискурс Натали Саррот, предсмысловой язык Беккета и Ионеско или «смерть поэзии» Ружевича. «Возвращенный свет» лучше всего показывает, что прозрачность истока достижима лишь тогда, когда пройдены все замутнения. «Я хотел бы, — говорит Карпович, а книга 1972 года — ослепительное свидетельство того, какая творческая сила дремлет в этом стремлении — вернуться в тот день, когда родилось слово, но сохранить в слове память о том, что пережито им "по дороге". Максимум ассоциаций — надежда моего логоса».

* * *

Утопия поэтического слова у Карповича, где в слове (как в каббалистическом Алефе) сокрыты все свершившиеся или только потенциальные истории вселенной и потому-то оно есть слово изначальное, — одна из самых безумных грез польской поэзии. Поэтому неудивительно, что любая попытка описать это стремление и осуществить его в стихе обречена на неполноту и невнятность для других. Возможно, для того чтобы понять Карповича, следовало бы настроить критический язык так же, как настраивает свою речь чернокнижника сам автор «Задревесных слоев»? «Но как?» — спросят непосвященные, добавив еще одно сомнение к вопроснику Збигнева Махея. Подсказка приходит из уединения чикагской пещеры, где 84 летний поэт окружил себя штабелями картонных коробок с карточками, куда он записывает все использованные в польской поэзии (и изношенные ею) слова. «Зачем он это делает?» — вопрошает анкета в предчувствии еще более глубокого безумия. Быть может — и пусть это будет моим единственным ответом на анкету — он делает это ради того, чтобы изменить несправедливое восприятие важнейших достижений искусства, которые считаются самыми несовершенными. Быть может, это лишь страх попасть под влияние, попытка вырвать у чуждого свою оригинальность. А может быть (приди, о Невозможность!), на этом американском Патмосе сбывается одно из великих пророчеств? Первородное писание восполняется карточками последних смыслов. Так возвращается Свет, Призванный глотает Книгу, а Изначальное Слово обретает свое начало. Аминь, говорим мы, Алеф.

СЕРГЕЙ КУЛАКОВСКИЙ -ПОПУЛЯРИЗАТОР ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

1937 г. Польская Академия литературы, созданная распоряжением совета министров от 29 сентября 1933 г. и включавшая самых видных, в основном старшего поколения, писателей и литературоведов, подала министру религиозных исповеданий и общественного просвещения предложение наградить Сергея (по-польски Сергиуша) Кулаковского "Серебряными академическими лаврами". Эту награду, учрежденную в 1934 г., давали за выдающееся литературное творчество, опеку над польской словесностью, издательскую работу, за распространение любви к польской литературе, воспитание читателей и вообще за содействие интересу к польскому литературному творчеству. Ее получали писатели, ученые, переводчики, библиотекари, публицисты, издатели, книготорговцы, государственные чиновники, общественные деятели, граждане Польши и других стран.

В списке награжденных, помещенном в "Ежегоднике Польской Академии литературы. 1937–1938", говорится: "Господин министр РИиОП распоряжением от 4 ноября 1937 г. по предложению Польской Академии литературы наградил (...) "Серебряными академическими лаврами" (...)

- 8. За распространение любви к польской литературе за границей:
- (...) Кулаковского Сергиуша, унив[ерситетского] доц[ента], лектора".

В этой группе награду давали обычно дипломатам, университетским профессорам, переводчикам. Живший в Польше с 1925 г. Сергей Юлианович Кулаковский с 1926-го был доцентом Польского свободного народного университета в Варшаве, читал лекции по русскому языку (а с 1928 г. и по литературе) в Варшавском университете и нескольких других высших учебных заведениях.

Его биография характерна для беженцев из России – поляков или людей, ощущавших связь с Польшей и польской культурой. Воспитанные зачастую в среде двух культур, польской и русской, и двух вероисповеданий, католического и православного, в Польше они становились польскими или русскими писателями, участвовали в русской (эмигрантской) и польской литературной жизни, писали на одном языке или на обоих. Жизненный путь Сергея Кулаковского был подобен пути Георгия (Ежи) Клингера, Льва (Леона) Гомолицкого, а в некоторой степени и русского прозаика Антона Домбровского, потомка повстанца 1863 г.; филолога-классика Фаддея Зелинского – так (а не польским именем Тадеуш) он подписывал свои статьи в русской прессе, выходившей в Польше в межвоенное двадцатилетие; Михаила (Михала) Хороманского, переводчика польской поэзии на русский язык.

До того как Сергей Кулаковский, сын профессора Киевского университета св. Владимира, прибыл в Польшу, у него уже была за плечами учеба в области славянской филологии в Киевском и Петербургском университетах, изучение медиевистики в Лейпциге и Париже, работа на кафедре древнерусской литературы в Киеве; он был доцентом в Москве, печатал первые литературные и публицистические опыты по-русски, одну научную работу напечатал по-французски. С самого приезда в Польшу он принимал активное участие в польской литературной и научной жизни.

В работах о нем и биографических заметках прежде всего перечисляют его работы по русской литературе, в том числе обзорный труд "Пятьдесят лет русской литературы (1884–1934)", готовившиеся монографии о творчестве Льва Толстого и Николая Лескова, напечатанные научные труды и статьи о русской литературе и ее восприятии в Польше; упоминают и о его сотрудничестве со многими польскими журналами и русской прессой, выходившей в Польше; пишут о его участии в I и II Съездах славистов (Прага, 1929; Варшава, 1934), в Съезде прибалтийских археологов (Рига, 1930); о лекциях, которые он читал в странах Прибалтики, а в Польше – об участии в Съезде в честь Яна Кохановского и о докладах, читанных на заседаниях научных обществ.

Францишек Селицкий, Рышард Лужный и другие авторы публикаций о польской русистике, в том числе о С.Кулаковском, справедливо сосредотачивают внимание на его достижениях и месте в этой науке. В меньшей степени предметом исследований становится его участие в польской литературной жизни и роль в популяризации польской

литературы за границей, особенно среди русской эмиграции - это мы и избрали темой настоящей статьи.

Тадеуш Хростелевский, автор статьи в "Польском биографическом словаре", пишет, что С.Кулаковский опубликовал свыше 200 статей и научных работ на темы из области русистики, полонистики, литературы стран Прибалтики. Он печатался во многих журналах, активно сотрудничал с еженедельником "Вядомости литерацке" и еще активней - с журналом "Камена", о чем свидетельствует сохранившаяся переписка с главным редактором Казимежем Яворским.

В 1929 г. в Праге проходил I Съезд славистов. Из польских литературоведов активное участие в нем приняли, в частности, Мариан Шийковский (член президиума съезда), Ян Быстронь, Юзеф Голомбек и Сергей Кулаковский. На второй день съезда (7 октября), как следует из программы, помещенной в пражском журнале "Slavia", на заседании секции истории литературы С.Кулаковский прочитал доклад "Современные русские поэты" (на русском языке). В 1931 г. комитет пражского съезда издал отдельным оттиском доклад С.Кулаковского "О романтизме в современной польской поэзии" (тоже по-русски). На экземпляре, сохранившемся в Главной библиотеке Варшавского университета – автограф: "Глубокоуважаемому, любимому профессору Станиславу Шоберу в память о I Съезде славистов – искренне преданный С.Кулаковский".

Статью о польской поэзии Кулаковский начинает карактеристикой "Молодой Польши": "Польская поэзия наших дней глубоко коренится в эпохе "Молодой Польши"". "Молодая Польша", по мнению Кулаковского, была по сути романтическим течением, для которого родная земля был источником силы. "Поэты не были "народниками", они не шли к земле с "верхов"; они сами происходили из основных слоев населения и стремились обновить литературную речь путем приближения к народной". Кулаковский говорит о творчестве Яна Каспровича, Станислава Пшибышевского, Станислава Реймонта, Стефана Жеромского, Леопольда Стаффа, подчеркивая, что они продолжали романтический этос и мессианизм эпохи Мицкевича, Словацкого и Красинского, но испытывали dolor ingens ante lucem (благородную скорбь перед рассветом).

Из поэтов этого периода подробнее всего он описал творчество Казимежа Пшервы-Тетмайера, Яна Каспровича и Тадеуша Мицинского.

Работа Кулаковского содержит обзор группировок, течений, тенденций, творческих личностей в современной литературе: скамандритов и поэтов, связанных с этой группой (Юлиана Тувима, Казимежа Вежинского, Ярослава Ивашкевича, Антония Слонимского), других поэтов, в том числе Станислава Балинского, Казимеры Иллакович, Марии Павликовской-Ясножевской, поэтов группы "Чартак", среди них Эмиля Зегадловича и Эдварда Козиковского, а также поэтов, которых он называет "новаторами", включая в их число футуристов, краковский авангард, "революционно-общественную" группу (в первую очередь Владислава Броневского) и поэтов "Квадриги", с которой он сам был связан. В программах и творчестве отдельных поэтов он ищет следы традиций эпох романтизма и неоромантизма, даже когда говорит о поэтах "Квадриги", которые, нападая на скамандритов за их символизм и романтизм, сами, по мнению Кулаковского, писали стихи, переполненные романтическими настроениями.

Кулаковский был компаративистом и, когда писал о литературе "Молодой Польши" и межвоенного двадцатилетия, обращался к русской литературе. Но делал он это еще и потому, что имел в виду русского читателя, которого путем сравнения обеих литератур и явлений литературной жизни хотел лучше ознакомить с польской литературой. "Химеру" он сопоставляет с "Весами" и "Аполлоном"; говоря о творчестве Юлиана Тувима, не только писал о нем как о замечательном переводчике русской поэзии, но и называл "алхимиком", "магом стиха", сравнивая с Брюсовым, а сопоставляя с Бальмонтом - "волшебником музыки слова". Кулаковский высоко ценил поэзию Марии Павликовской-Ясножевской и Казимеры Иллакович - об этой последней он написал, что она "с чисто лермонтовской иронией, замкнутая в себе, с гордостью смотрит на мир", а в ее поэзии немало признаков романтической эпохи. В "Слове о Якубе Шеле" Бруно Ясенского он усматривал влияние есенинского "Пугачева". Говоря о Влодзимеже Слободнике из группы "Квадрига", Кулаковский вновь вспомнил Лермонтова, находя у поэта воистину лермонтовскую тоску и отчуждение - только в связи с землей, родной Мазовией, Слободник, по словам Кулаковского, находит утешение.

В 1929 г. в берлинском издательстве "Петрополис", существовавшем в 1922–1938 гг. и публиковавшим эмигрантскую литературу, вышла книга "Современные польские поэты. В очерках Сергея Кулаковского и в переводах Михаила Хороманского". Кулаковский сохранил то же, что в предшествующей публикации, деление на периоды,

поэтические школы и группы. Книга включает разделы: "Молодая Польша", "Скамандр", "Вне группировок", "Чартак", "Футуристы и новаторы", "Революционно-общественная группа", "Квадрига".

В книге 248 страниц, она содержит обзор творчества 45 поэтов (41 современного и четверых – периода "Молодой Польши") от Яна Каспровича до Влодзимежа Слободника и переводы стихов (тоже сорока с лишним поэтов). Кулаковский напечатал здесь очерки о "Молодой Польше" и об отдельных поэтических группах. Некоторые очерки о поэтах довольно обширны (4-6 страниц) – о Я.Каспровиче, Т.Мицинском, К.Вежинском, А.Слонимском, Ю.Тувиме, К.Иллакович, М.Павликовской – Ясножевской; другие – покороче (1-2 страницы), а иногда информация о поэте составляет несколько строк в очерке о данной группе или поэтическом поколении.

Очерки носят откровенно информационный характер (хотя иногда автор отступает от этого принципа) в согласии с принципами, сформулированными в предисловии: "Русский читатель почти совсем незнаком с современной польской литературой. Вот почему мною была задумана информационная книга о современных польских поэтах". Объясняя содержание книги, он говорит, что она посвящена поэтам после 1918 г., а из поэтов предыдущей эпохи учтены лишь те, что связаны с современной поэзией. Во вступлении Кулаковский предупреждает, что переводчик отбирал стихотворения независимо от содержания его очерков. Он отмечает также, что столкнулся с немалыми трудностями, так как до конца 1920-х, кроме давно уже написанной работы Яна Ляма, не появилось ни одной работы, охватывающей современную польскую литературу в целом, в связи с чем ему пришлось проводить исследования, собирать материал, находить сведения у самих авторов. Помощь в этом ему оказывали главный редактор "Вядомостей литерацких" Мечислав Грыдзевский, издатель Якуб Морткович и Мариан Штайсберг.

Как и в предыдущих работах, Кулаковский, желая ознакомить русского читателя с польской литературой, обращался к российскому периоду жизни ряда поэтов (Вежинского, Лесьмяна, Иллакович), писал о контактах польских поэтов с русскими (например, Каспровича и Бальмонта); говоря о творчестве отдельных поэтов, доискивался разнообразных художественных связей, сходной тематики, мотивов, черт поэтики и т.п. Так, он соотносил стихи Каспровича с Тютчевым, Мицинского – с Врубелем, Скрябиным и

Пастернаком, Стаффа – с Брюсовым, Ясенского – с Пастернаком и Эренбургом, Волошиновского – с Лермонтовым, Тургеневым, Блоком... Сообщал также, кто любимые русские поэты Тувима, Вежинского, Ивашкевича и других, какие произведения появились в переводах Тувима или Броневского.

Примеров такого компаративистского подхода в книге немало. Например, в очерке о Яне Каспровиче Кулаковский писал: "Самая замечательная книга лирики его посвящена этой любви к земле; это – "Книга убогих" (1916) или "смиренных", как перевел Бальмонт". В "этой исповеди взыскательного к себе художника" Каспрович преодолел "эпоху бури и натиска в своем творчестве" и нашел "простоту, тайну которой знал Тютчев и которая была единою целью русских поэтовакмеистов (1910–1925 гг.)".

Тадеушу Мицинскому Кулаковский посвятил целых пять страниц. Анализируя его "Чернобыльские дубы", он отметил: "Подлинный Мицинский – свыше вдохновенный пророк, точно сошел с иллюстрации Врубеля к стихотворению Пушкина. Да и весь облик Мицинского-поэта совершенно Врубелевский. Быть может, обоим были доступны те же видения; только одному – в линиях и красках, другому – в ритмической речи. (...) Точно такое же впечатление, как "В сумраке звезд", производит поэма А.Скрябина (напечатанная десять лет назад), если читать ее, забывая о музыке. Кстати, и Мицинский, и Скрябин – необуддисты и теософы – по своему миросозерцанию близки друг другу".

О Казимире Иллакович Кулаковский пишет: "В поэзии Иллакович слышен явственно голос "гордого человека" романтической эпохи, сердце которого облито было "горечью и злостью" - Лермонтова. Поистине горькой отравой была для Иллакович некогда поэзия Лермонтова; от него, быть может, поэтесса давным-давно отошла; но есть ведь родство душ, и от этого родства никуда бежать нельзя".

Надо, однако, констатировать, что эта попытка ознакомить русского читателя с польской литературой в целом оказалась неудачной. Вместо того чтобы сосредоточиться на творчестве нескольких выдающихся поэтов, Кулаковский охарактеризовал, и не всегда верно, больше сорока поэтов, не проводя никакой иерархии, нагромождая массу сведений. Ничего удивительного, что Кароль Заводзинский резко раскритиковал эту работу – прямо назвав ее книгой, вредной для пропаганды польской культуры. Он выдвинул целый ряд упреков, даже в чисто языковом отношении, и заключил:

"Языковая сторона не может повлиять на благоприятный прием книги у русской публики".

В 1930 г. в связи с 400-летием со дня рождения Яна Кохановского в Кракове прошел посвященный ему съезд, в котором принял участие и Сергей Кулаковский. В том же году в берлинском издательстве "Петрополис" вышла на русском языке его книга "Ян Кохановский. 1530-1930" с репродукцией гравюры, изображающей поэта, и с посвящением "Фаддею Францевичу Зелинскому – провозвестнику Славянского Возрождения". На экземпляре, находящемся в собрании библиотеки Варшавского университета – дарственная надпись: Ясновельможному пану редактору д-ру Станиславу Ляму с изъявлениями глубокого уважения от автора. 4 VI 1930".

Целью этой брошюры в 31 страницу было ознакомить русского читателя с творчеством Яна Кохановского, позволить читателям осознать его место в европейской литературе. В начале очерка автор пишет: "Четыреста лет прошло со дня рождения польского поэта Яна Кохановского. Общеславянское значение Кохановского заключается в том, что он первый из славянских поэтов стал участником в развитии общеевропейского поэтического творчества и, к тому же, в блестящую эпоху возрождения традиций античного мира". Говоря об отдельных произведениях поэта, Кулаковский особенно подчеркивал их связь с античностью. Столь же умышленно он весьма подробно представил жизнь и творчество Кохановского на фоне европейской литературы его времени (что же до польской литературы, то он ограничился упоминаниями о ней).

Путеводной нитью очерка стало подчеркнутое значение творчества Кохановского для всего славянского мира. Кулаковский напоминал, что в ту эпоху в Москве, в царстве Ивана Грозного, не могло быть и речи о развитии поэтического творчества, польской же литературе появление Кохановского позволило войти в орбиту развития всеевропейской литературы.

Неслучайно в заключительной части очерка автор говорит о переводах Кохановского в XVII-XVIII вв. на немецкий язык, а в XX-м - на французский, итальянский, английский. Очерк кончается словами: "Так романские и германские народы почтили своим вниманием выдающегося славянского гуманиста и поэта". Здесь, быть может, содержится ответ на вопрос, почему Кулаковский не упомянул о переводах поэзии Кохановского на русский язык в XIX и начале XX века.

К очерку приложены сделанные Кулаковским переводы нескольких стихотворений поэта из Чернолесья - трех фрашек ("На свои книги", "Надгробная речь коту", "Горам и лесам") и двух тренов - VIII и XVIII. Название жанра "фрашка" (эпиграмма) ввел в польский язык Кохановский. Кулаковский использовал не вполне адекватный перевод - "шутка". Свои траурные песни, написанные после смерти малолетней дочери Уршули, Кохановский назвал древнегреческим словом "трены" (threnos) - Кулаковский заменил его названием аналогичного жанра, известного в фольклоре и древнерусской литературе - "плач".

Как и в очерке о современной польской поэзии Кулаковский старался разъяснить русскому читателю поэзию Кохановского, характеризуя, например, стих этой поэзии. Под текстом фрашки "Надгробная речь коту" Кулаковский пишет: "Оригинал - сплошь в женских рифмах, столь однообразных для русского читателя; Кохановский вообще иных рифм не признавал". А говоря о "Псалтири", ссылается на русскую литературу: "Известно, какой популярностью пользовалась "Псалтирь" в средние века и как часто на всех языках перелагали псалмы и стихи, вплоть до XIX века (и в русской литературе и в других)". Характеризуя придворную поэзию Кохановского, он указывал, что ее примеры можно найти в русской литературе XVIII-XIX веков. Иногда это желание как можно удобнее передать знание о временах Кохановского вело к упрощениям: например, описывая тогдашний Вавельский замок в Кракове, он называет его Кремлем.

В 1934 году Кулаковский участвовал во II Съезде славистов в Варшаве, но читал доклад о русской литературе ("Ложнонародная поэзия в русской литературе XIX века").

Кулаковский переводил и стихи других польских поэтов. В посвященном Мицкевичу номере "Камены" (1934, №10), он поместил перевод отрывка из главы XVI "Книг польского народа и польского странничества". Это аллегорический рассказ о путниках, которые попали в волчью западню. Выбор этого отрывка был удачным, в нем можно было отыскать актуальные нравственно-политические ассоциации и отнести к русской эмиграции. Такого мнения был и сам Кулаковский. Во вступлении к переводу он обращает внимание на универсализм произведения, на то, что не только польская, но и любая эмиграция может услышать в нем голос своего вожатого. "Книга странничества", по его мнению, особенно близка и понятна современникам. Рассказ начинается словами: "Вы - в

чужой земле, среди бесправия, как путники, которые в неизвестном краю попадут в яму".

После войны Кулаковский заведовал кафедрой русского языка и литературы в Лодзинском университете. Продолжал заниматься польско-русскими литературными связями, в частности, продолжил начатое до войны исследование творчества Лескова и печатал отдельные статьи о нем, а также о Тувиме - переводчике русской поэзии.

Умер Сергей Кулаковский в 1949 г., похоронен на православном кладбище в Варшаве.

В настоящей статье рассмотрен лишь вопрос популяризации польской литературы среди русских – рассмотрения ждет участие Кулаковского в польской литературной жизни, его роль в ознакомлении польского читателя и слушателя с русской литературой – с творчеством Пушкина, Лескова, Есенина, Волошина, Блока, Ходасевича, Брюсова, Маяковского и других. Следует вспомнить и его заинтересованность культурой прибалтийских стран, статьи об эстонской, латышской и финской поэзии в польской печати.

"Acta Polono-Ruthenica"

ПРОЧТЕНИЕ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Книга Виктории Тихомировой посвящена польской прозе о II Мировой войне в новом контексте, созданном общественными и культурными переменами 1989-2000 годов. Речь идет о своего рода реинтерпретации военной литературы, уже не подвергающейся, как некогда, давлению цензуры, в обстоятельствах, позволяющих рассматривать вместе произведения писателей, творивших в Польше и в эмиграции. Совершенно очевидно, что в читательском пространстве ПНР литература, посвященная военному опыту, охватывала почти исключительно историю немецкой оккупации, комплекс же переживаний в зоне оккупации советской был из нее исключен. Особенно это касалось целой плеяды «лагерных» произведений, таких, как «Иной мир» Густава Герлинга-Грудзинского, «На бесчеловечной земле» и «Старобельские воспоминания» Юзефа Чапского, «Дорога в никуда» и «Не надо говорить вслух» Юзефа Мацкевича, «Казахстанские ночи» Херминии Наглер, «Титус, теперь соловьи» Мариана Чухновского, «В доме рабства» Беаты Обертынской (кстати говоря, написавшей превосходные стихи об Урале) или — остановимся на этом примере — «Засыплет все, заметет» Влодзимежа Одоевского. В польской неэмигрантской литературе II Мировая война была почти полностью сведена к описанию опыта нацизма. Преступления второго тоталитаризма рассматривались как своего рода табу. Этот факт был широко известен. Можно сказать, что попытка ампутировать у поляков память не только не удалась, но и до сих пор, как бы ни старались ее затушевать виновники, затрудняет взаимные контакты поляков и россиян.

Тихомирова справедливо обращает внимание на то значение, которое имел для дальнейшего развития польской литературы (в том числе военной) факт слияния после 1989 года обоих течений, базирующихся на историческом опыте того периода. После публикации написанной в эмиграции лагерной литературы появился целый ряд новых произведений, таких как романы Чтибора-Пётровского или Петра Беднарского. Вообще глава, посвященная этой прозе, заслуживает особого внимания, и мне немного жаль, что автор не попытался проанализировать отдельные произведения, написанные уже после обретения Польшей независимости — разумеется,

соблюдая необходимые пропорции. Это освобождение от страха перед «запретной» темой (первым произведением из этого цикла был напечатанный в самиздате «Великий страх» Юлиана Стрыйковского) стало любопытным показателем перемен, происходящих в польском историческом мышлении. Думаю, что внимательно читая «Ненасытные вещи» Чтибора-Петровского (в том числе и ради формальных поисков автора), можно заметить усилия, направленные на поиски языка, позволяющего передать специфику этого опыта. Жаль также, что в приведенной автором плеяде книг, описывающих столкновение с советским режимом, не нашлось места для «Империи» Рышарда Капустинского, которая, строго говоря, не относится к категории «лагерной литературы», но описывает своеобразие явления, которое коммунистическая пропаганда именовала «нашим лагерем».

О значении, которое Тихомирова придает этой теме, свидетельствует тот факт, что лагерную прозу она выделила как отдельный подраздел военной литературы, — хотя, кажется, логично было бы включить ее в подраздел «Война и национальные судьбы», в котором важное место занимает описание литературы, посвященной Катастрофе. В самом деле, в новейшей польской литературе эта тема занимает отдельное место. Произведения, описывающие опыт Катастрофы после 1989 года (хотя о ней писали и раньше — например, Ханна Краль в «Квартирантке» и Ярослав Марек Рымкевич в романе «Умшлагплац»), пытаются прорвать психологическую блокаду в стремлении говорить о ней и в то же время очистить язык от навязанных ему в прошлом стереотипов. В качестве примеров достаточно привести сборник рассказов Михала Гловинского «Черные сезоны» или замечательный сборник эссе Петра Матывецкого «Межевой столб».

Третья из выделенных Тихомировой тем, которые доминируют в литературе, посвященной войне и ее последствиям — это вопрос утраты восточных земель Второй Речи Посполитой, называемых в Польше «кресами». Это тоже одна из тем табу в литературе ПНР. Иногда она появлялась (как в романах Конвицкого), но при этом в ней всегда преобладали недосказанность и умолчания. Придуманный послевоенной пропагандой термин, определяющий людей, вынужденных покинуть веками принадлежавшие им «малые родины» на востоке Польши, как «репатриантов», т.е. «возвращающихся на родину», был несомненным языковым подлогом. Писателям, жившим в ПНР, он не давал возможности описать одно из самых болезненных переживаний миллионов поляков,

переселенных на культурно и цивилизационно чуждые им западные и северные земли.

Боль от утраты этих восточных земель стала для поляков своеобразной «фантомной болью» (впрочем, эта проблема появляется и в послевоенной немецкой литературе — взять хотя бы данцигский цикл Гюнтера Грасса), особенно мучительной оттого, что выражать ее было запрещено. Поэтому ничего удивительного, что после 1989 г. интерес к этой проблематике — как в самой литературе, так и в литературоведении — вспыхнул с удвоенной силой, одним из выражений которой стало присуждение премии Чеслава Милоша книге Александра Юревича «Лида». В этом подразделе Тихомирова занялась скорее научными работами и эссе, посвященными роли «кресов», нежели самой литературой. Жаль — ведь целый ряд книг этого течения, написанных как до переломного 1989 года (главным образом в эмиграции, как «Долина Иссы» Милоша, экранизированная после 1989 года Тадеушем Конвицким, или творчество упоминаемого автором Юзефа Мацкевича), так и после него, сыграло довольно значительную роль в восприятии литературы. Так было, к примеру, с романом Тересы Любкевич-Урбанович «Божья подкладка», по мотивам которого снят популярный телесериал Изабеллы Цивинской. Я обращаю внимание на экранизацию прозы, посвященной «кресам», ибо она свидетельствует о значении и популярности этого тематического течения.

Наконец — что с польской точки зрения заслуживает особого внимания — Тихомирова анализирует целый ряд книг, посвященных судьбам немцев в послевоенной Польше. Вопрос этот особенно важен потому, что после Ялты значительное число поляков оказалось на территориях, которые в обиходном языке получили название «оставшихся от немцев» («понемецких»). Можно сказать, что литература, избравшая эту проблематику, занялась не только судьбами самих немцев, но и вопросом «освоения» поляками того, что от них осталось: так обстоит дело в произведениях Павла Хюлле, Стефана Хвина, Артура Д. Лисковацкого или Анджея Завады. Быть может, именно литературные произведения, которые открыты к былым врагам и тем самым взваливают на себя тяжесть сопереживания, ведут к отказу от стереотипов и враждебности (это касается и «кресовой» литературы). Они сильнее всего подтверждают тезис Тихомировой о том, что литература, посвященная войне и ее последствиям, продемонстрировала огромное богатство эстетических возможностей и взялась за темы, имеющие первостепенное значение для гражданского самопознания.

В этом контексте особое значение приобретает концепция обучения послевоенной литературе — особенно той, которая затрагивала военную проблематику. После 1989 года открытость к наследию эмигрантской литературы, отказ от пропагандистской интерпретации исторического процесса и, наконец, появление новых стилей повествования (хотя бы в таких произведениях, как «Умшлагплац» Рымкевича, «Черные сезоны» Гловинского или «Ненасытные вещи» Чтибора-Петровского; похоже, что в изменениях, наметившихся в искусстве повествования, эти книги играют такую же существенную роль, как когда-то «Дневник Варшавского восстания» Мирона Бялошевского) привели к отказу от прежних, идеологически сформированных учебных программ. Освобождение этих программ от корсета идеологического принуждения привлекло внимание автора в двух следующих главах ее труда.

Книгу Тихомировой завершает глава, посвященная успеху польских «военных» книг в Польше и за рубежом. Действительно, многие из этих произведений (хотя бы «Пианист» Шпильмана, экранизированный Полянским) были переведены на многие языки мира — прежде всего на немецкий. Это касается в первую очередь литературы, созданной после 1989 года. Существенным изменением в восприятии польской военной литературы (особенно старых произведений эмигрантов), стало ее распространение на территории бывшего «соцлагеря», особенно в России. Разумеется, здесь на первый план выходят книги, посвященные лагерному опыту. Однако — что представляется важным импульсом в нашем культурном диалоге — в довольно быстром темпе издаются и переводы более молодых авторов, таких как Хюлле или Хвин.

Конечно, труд Виктории Тихомировой заслуживает более тщательного, подробного анализа. Я отметил лишь те вопросы, которые показались мне особенно интересными. Ее книга — это компетентное, хотя по-прежнему слишком краткое исследование интересной темы. Интересной тем более, что, как это видно с российской перспективы, независимо от течения времени военная проблематика продолжает оставаться одной из главных тем, формирующих самосознание польской культуры.

В. Я. Тихомирова. «Польская проза о Второй мировой войне в социокультурном контексте 1989–2000». М.,2004.

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Правду говоря, я сижу теперь несколько беспомощный над грудой ежедневных газет и еженедельников: все переполнены фотографиями Иоанна Павла II, воспоминаниями о нем, репортажами о похоронах, комментариями. Среди комментариев нет недостатка в сожалениях о холодности Русской Православной Церкви и российских властей по отношению к Папе. Думаю, не будь поляком этот Папа, совершавший многочисленные паломничества, ему все-таки удалось бы побывать в Москве: сплетение польскости и католичества оказалось, как мне кажется, непереносимым, что, разумеется, имеет свои глубокие корни, исторические и политические. И об этом следует говорить, а не делать вид, что соединение этих двух факторов не имело никакого значения. Имело. И наверное когда-нибудь мы сможем свободно об этом поговорить. Пока что я читаю в газетах о том, что во взаимоотношениях появились трудности, связанные с "миссионерской деятельностью католического духовенства, которое приезжает к нам из-за границы, стараясь всех обратить в свою веру", а также с "агрессивной деятельностью греко-католиков на Украине". Эта "заграница" - не что иное как Польша: мы прекрасно помним трудности польского духовенства в России, продолжающие влиять на взаимные отношения. Удивляться нечему, однако стоит по некоторым вопросам все договорить до конца, назвать по именам.

Иоанн Павел II никогда не скрывал, что выступает и как глава вселенской Католической Церкви, и как сын своей родной земли. Побывать в России он хотел и как Папа, и как поляк − это вроде бы ясно, и замалчивание этого факта выглядит имеющим значение. Разумеется, такое паломничество имело бы как исторический, так и символический аспект − но не только в отношениях между Церквями. Оно имело бы огромное значение и для польско-российских отношений: аспект этого рукопожатия православным верующим было бы трудней объяснить, чем экуменический аспект, который не должны им объяснять главы других православных Церквей. В газете "Жечпосполита" (2005, №83) об этом говорится в интересной статье Тересы Стылинской и Марека Суховейко "От равнодушия к сердечности":

"Православные Церкви юга Европы, хотя и с недоверием относящиеся к католикам, не так непримиримы, как русская Церковь. Варфоломей I, патриарх Вселенский и Константинопольский, бывал гостем в Ватикане. А неприязнь Церквей Греции, Румынии и Болгарии в значительной мере растаяла. Произошло это в результате паломничеств Иоанна Павла II в эти страны, когда впервые со времен разрыва между Восточной и Западной Церквями Папа побывал на православной земле. (...) есть такая страна, где Иоанн Павел II проехал по улицам столицы не в "папамобиле", а в обычной машине, где его встретили не радостные толпы, а в лучшем случае равнодушие, где значительная часть местного духовенства забрасывала его оскорблениями (одним из самых мягких было "ватиканский волк") - и где пребывание Папы несмотря на это оставило самое лучшее впечатление. (...) Эта страна - Греция, где Иоанн Павел II побывал в мае 2001 г. во время паломничества по следам апостола Павла. (...) Это был совершенно особый визит, визит ожиданий и неожиданностей. "Мы ждем от Папы одного - жеста любви и смирения", - говорил тогда пресс-секретарь [архиепископа] Христодула. В этом загадочном определении таилось совершенно недвусмысленное ожидание: Папа должен просить прощения за обиды, веками наносившиеся католиками и их Церковью православным. И Папа сделал такой жест, прося прощения за грехи Церкви. (...) В десятимиллионной Греции католиков мало - 50 тысяч и еще примерно сто тысяч иммигрантов. Папа отслужил для них Божественную литургию, но центр тяжести его пребывания в Афинах был не тут, а в том, что яснее стал вопрос о единстве Церквей. Это наступило только благодаря жесту Папы, так как в его афинской программе не было ни одного экуменического богослужения, ни одного диспута или богословской встречи. То, что подход Христодула смягчился, особенно выразительно. Глава греческой Церкви всегда был непримиримым в отличие от более открытого к католикам Варфоломея I, патриарха Вселенского и Константинопольского. (...) на похороны Папы приехали оба - Варфоломей и Христодул. Это лучшее доказательство того, как сильно за время понтификата Иоанна Павла II изменились отношения с православием в его греческом варианте".

Однако не везде такое сближение оказалось возможным:

"Паломничество в Болгарию в 2000 г. должно было стать еще одним шагом на пути сближения католичества с православием. Однако дистанция между Ватиканом и болгарской Церковью, находящейся под влиянием Московского Патриархата, осталась

весьма заметной. Папа получил приглашение не от Церкви, а от представителей интеллигенции. Часть иерархов во главе с Патриархом Максимом старалась ограничить доброжелательные жесты протокольным минимумом. И хотя накануне приезда Папы уже не веяло холодом и перестали говорить, что "Папе тут нечего делать", однако Патриарх не колеблясь напомнил Иоанну Павлу II, что истинная вера – это православие. Но болгарская Церковь – это не только Патриарх Максим и сильное промосковское лобби. "Преграды между нами, будучи делом человеческим, не доходят до неба", – сказал, принимая Папу, игумен знаменитого Рильского монастыря Иоанн. Там Папа говорил об огромных заслугах монастырей восточной Церкви как мест, где сохранялась вера".

А Павел Смоленский в статье "Папа вас любыт" (в польской транскрипции приведена украинская фраза), помещенной в "Газете выборчей" (2005, №78), напоминает о паломничестве Папы на Украину:

"За несколько месяцев до того, как папский самолет приземлился на киевском аэродроме Борисполь, митрополит Владимир, глава самой крупной на Украине УПЦ Московского патриархата, направил в Рим резкое и сухое письмо с просьбойтребованием отложить приезд. Против паломничества выступило русское духовенство. В Киево-Печерской лавре (...) самые ярые сторонники Владимира устраивали антипапские демонстрации. Однако уже после первых слов Папы Евген Сверстюк [бывший политзаключенный, председатель Украинского ПЕН-клуба и издатель православного журнала "Наша вира"] не колеблясь заявил: "Письмо Владимира оказалось голосом чиновника, а не священника. Категорические заверения, что Папу плохо примут на берегах Днепра, противоречат украинской традиции терпимости и многоконфессиональности. (...) На мой взгляд, митрополит получил текст этого письма из Москвы, что открыло истинное лицо его Церкви"".

Смоленский отмечает:

"Украинские комментаторы подчеркивали, что папское паломничество "прибавило доверия к украинскому суверенному государству, существование которого после десяти прошедших лет не всякому очевидно". Некоторые даже намекали, что встреча Иоанна Павла II с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой была [со стороны президента] щелчком по лбу Москве (против приезда Папы на Украину были как Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, так и националист Владимир Жириновский и лидер

российских коммунистов Геннадий Зюганов) и что Кучма рассчитывает, что получит за это своеобразное отпущение грехов. (...) Отпустил ли Кучме грехи Иоанн Павел II неизвестно. Но верно, что Папа неоднократно поздравлял Украину с независимостью и подчеркивал ее европейские и христианские корни. Люди, обладающие чувством истории, отметили, что Иоанн Павел II молился в Бабьем Яре, где гитлеровцы уничтожили сотни тысяч украинских евреев, и в роще возле Быковни, где НКВД захоронило тела ста тысяч жертв сталинского террора, что он говорил о нескольких миллионах "великого голодомора" 1933-1934 гг. А беатификация 28 украинцев, членов Украинской Греко-Католической Церкви, осужденной советским режимом на небытие и катакомбную жизнь, кроме своего религиозного аспекта стала [вместе с вышеназванными событиями] своеобразным приговором обоим тоталитаризмам прошлого века".

Заканчивая статью, Смоленский напоминает слова проповеди Иоанна Павла II:

"Во Львове тоже прозвучала История. На первой Божественной литургии Папа сказал: "Я испытываю глубокую внутреннюю потребность признаться в различных проявлениях неверности евангельским принципам у христиан, как поляков родом, так и украинцев. Пора уже оторваться от горестного прошлого (...). Да прольется прощение (...) словно благодетельный бальзам в каждое сердце. Да будут все готовы благодаря очищению исторической памяти ставить выше то, что единит, нежели то, что разделяет". На следующей литургии Папе отвечал львовский епископ восточного обряда, кардинал Людомир Гузар: "Некоторые сыновья и дочери Украинской Греко-Католической Церкви, к нашему огромному сожалению, сознательно и добровольно причинили ущерб ближним среди своего народа и других народов". Кардинал Гузар просил за них прощения. Львовские дни Иоанна Павла II прочно вписались в историю польско-украинского примирения".

Все эти статьи и заметки – разумеется, только вступление к будущей широкой дискуссии. Но дело в том, что эта дискуссия будет запоздалой хотя бы с одной точки зрения. Я глубоко убежден, что раньше или позже взаимопонимание между Церквями обязательно наступит – чем скорее, тем лучше, ибо духовное состояние Европы, довольно гнусное – по крайней мере в религиозном отношении – от этого только выиграет. Преемнику Иоанна Павла II придется взять на себя труд этого диалога, наверняка нелегкого. Но то-то и обидно: Иоанн Павел

II мог при этом вдохновить также и польско-русское сближение и примирение, тоже нелегкое, как сделал шаги в польско-украинском примирении. Мне кажется (хотелось бы ошибаться!), что был упущен какой-то важный и, пожалуй, неповторимый исторический шанс.

В фундаментальном труде Нормана Дэвиса "Европа" я нашел замечание, которое сегодня кажется мне необыкновенно злободневным, хотя касается событий, происходивших больше полутора тысяч лет назад:

"Константин посеял зерно, из которого выросло одно из исторических убеждений: христианскую религию не удается согласовать с политикой. Сам Христос категорически отвергал всякое вхождение в сферу политики; до Константина христиане тоже не стремились завоевать власть как орудие в борьбе за свое дело. Со времен же Константина христианство и политика шли рука об руку. В глазах пуристов это был как раз тот момент, когда началась коррупция".

Похоже, что в отношении Иоанна Павла II к политике произошла знаменательная перестановка акцентов: религия была поставлена перед политикой. Обращаясь к верующим в 1993 г., во время дня молитв за мир в Европе, он говорил:

"Орудиям разрушения и смерти, жестокости и насилия мы можем противопоставить только наш призыв к Богу, доносимый словами, идущими от сердца. Мы не сильны и не могущественны, но знаем, что Бог не оставляет без ответа мольбы человека, который обращается к Нему с искренней верой, особенно тогда, когда решаются нынешние и будущие судьбы миллионов людей".

Искренняя вера вместо политики?

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

- Конец марта и начало апреля прошли в Польше под знаком болезни и смерти Иоанна Павла II. Об этом написано уже достаточно много (в том числе и в этом номере "Новой Польши"), поэтому ограничимся цитатой из некролога, опубликованного польскими властями: "Он был одним из величайших людей эпохи. Его слова и дела оказывали влияние на судьбы Речи Посполитой, Европы, всего мира. Будучи неутомимым поборником мира, диалога и примирения, он способствовал преодолению многих барьеров, разделяющих народы и религии". Напомним, что Кароль Войтыла был еще и человеком культуры. Он начинал как артист театра и режиссер. Написал шесть драм, из которых самой большой популярностью пользовались "Брат нашего Бога" и "Лавка ювелира" - обе они ставились не только в Польше и обе были экранизированы в международном составе. "У него были прекрасные данные и огромный диапазон актерских возможностей, - пишет о Войтыле его товарищ по дебютантской сцене, впоследствии прекрасная актриса Рапсодического театра Данута Михаловская. - У него была интересная внешность, хотя он не был типом героялюбовника. Обычно он играл героические, драматические и временами - характерные роли (...) В 1942 году он поступил в духовную семинарию, в результате чего ушел из театра, но поэтом остался навсегда". Во всей Польше скончавшемуся Папе были посвящены многочисленные музыкальные и театральные мероприятия, а его книги моментально исчезали с полок магазинов. Друзья Иоанна Павла II уверены, что в папских ящиках в Ватикане найдется еще немало неопубликованных произведений. В заключение - цитата из фельетона Адама Михника: "Это был Папа, который учил нас отваге и героизму, но в то же время хорошо понимал смысл компромиссов в общественной жизни и предостерегал от смертоносной логики возмездия". И слова, взывающие к нам с молниеносно развешенных по всей Польше плакатов - цитата из папской проповеди под фотографией Иоанна Павла II: "Не бойтесь!"
- В день 60-летия издающегося в Кракове католического еженедельника "Тыгодник повшехный" Ярослав Курский написал: "На протяжении 45 лет с трехлетним перерывом

Турович [многолетний, ныне покойный главный редактор "Тыгодника повшехного"] и коллектив "Тыгодника" (...) приоткрывали закрытую дверь, впуская в сталинскую ночь и гомулковскую серость немного света. Они не позволяли нам бездельничать в период герековского благополучия и впадать в интеллектуальный маразм времен Ярузельского".

- Присуждены премии журнала "Пшеглёнд всходний" ("Восточное обозрение"). Среди лауреатов главный редактор "Новой Польши" проф. Ежи Помяновский, получивший премию им. Александра Гейштора за книгу "К востоку от Запада". Награждена также Богумила Бердыховская за издание "Ежи Гедройц украинская эмиграция. Переписка 1950–1982". По словам Анджея Менцвеля, эта книга "доказывает, что в середине XX века ни у кого в мире не было плана политической независимости Украины, Литвы и Белоруссии, сравнимого с идеей Гедройца".
- В варшавском Королевском замке состоялось вручение премий Большого фонда культуры. Премий удостоились замечательный актер и режиссер Густав Холубек одна из самых выдающихся фигур польского кино и театра, а также перформер, создатель инсталляций и видеофильмов Павел Альтамер.
- Главными героями открывшегося в России Польского сезона будут писатель Витольд Гомбрович и композитор Генрик Венявский. Предусмотрено также множество других мероприятий. "Надеемся, что эта инициатива положит начало новым культурным отношениям между нашими странами", сказал во время презентации сезона посол Польши в России Стефан Меллер. Сезон открылся выставкой "Москва-Варшава/Warszawa-Moskwa. 1900-2000", ранее представленной в Польше в рамках Русского сезона. "Начало сезона пришлось на период большой напряженности между Польшей и Россией, сказала заместитель генерального директора Третьяковской галереи Лидия Иовлева. Выставки не разрешат споров об оценке II Мировой войны, но дадут нам возможность дискутировать не только об исторических конфликтах".
- "Это самая интересная выставка сезона в варшавском Национальном музее", написала Моника Малковская об экспозиции "Бретань и польские художники в Бретани". На выставке представлены прежде всего живопись и графика польских художников, творивших в Бретани. "Поляки ездили в Бретань как к себе домой, говорит куратор выставки Барбара Брус-Малиновская. Там они проводили каникулы, туда приезжали на натуру. Оказывается, Бретань напоминала им

Польшу. Для людей из Польши свет юга труден, а в Бретани небо хмурое. Бретань исполнена очарования и в то же время родной привычности". Во второй части выставки представлены костюмы и керамика, а также народная графика, картины и рисунки из Кимпера.

- Другим знаком французского присутствия в Польше стала открывшаяся в варшавском Королевском замке выставка "Свет и тени", на которой собраны шедевры французской живописи 1600–2000 годов.
- Неизвестный Вит Ствош стал героем выставки "Вокруг Вита Ствоша", которая продлится в Кракове до середины июля. Ствош был швейцарцем, большую часть жизни прожил в Нюрнберге и создал самый известный шедевр польского Средневековья - Мариацкий алтарь в Кракове. "Выставка дает хорошую возможность представить несколько более богатый образ этого необыкновенного средневекового мастера, - пишет Петр Сажинский. - Организаторы решили показать произведения Ствоша на так называемом широком фоне. В связи с этим со всей Малопольши были свезены фигуры, созданные до приезда Ствоша в Краков, и - для сравнения более поздние, ваявшиеся уже под его влиянием. Очередные части выставки показывают, как создатель Мариацкого алтаря влиял на творчество других скульпторов - от Поморья до Силезии". Однако самые интересные экспонаты выставки - это два недавно открытых произведения Ствоша: барельеф "Гефсиманское борение" из костела в Пташковой и распятие из костела в Ивановицах.
- "После открытия Музея Варшавского восстания все другие музеи кажутся допотопными", пишет Дариуш Бартошевич, сообщая об ожидаемом запуске двух других мультимедийных объектов: Музея истории польских евреев и Музея коммунизма. "Современный музей, пишет далее Бартошевич, не просто собирает материальные памятники и реликвии, но, пользуясь новейшими технологиями, реконструирует историю. Он не поучает, а воздействует на чувства, эмоции, воображение, приглашает к участию. Если традиционный музей напоминает скорее библиотеку, то современный подобен театру, где фабулу помогают воспринимать сценография и актеры".
- "Подводя итоги IX Пасхального Бетховенского фестиваля, Яцек Хаврылюк пишет: "После перенесения [фестиваля] из Кракова в Варшаву столица приобрела фестиваль международного ранга с универсальной и доступной программой, которая может удовлетворить вкусы слушателей,

не слишком посвященных в тайны серьезной музыки (...) Что касается художественного уровня, то, как на каждом крупном мероприятии, было то лучше, то хуже (...) Кроме меломанов фестиваль привлек большую группу ВИПов, поэтому на концертах "играли" мобильники, а зрители аплодировали между частями (...) торжественность и помпа (...) Одно можно сказать наверняка: Бетховенский фестиваль занял свободное место на культурной карте столицы. А поскольку его организует сильная, умелая рука, у него есть шанс остаться здесь надолго". Добавим, что организатор и директор фестиваля – Эльжбета Пендерецкая, которая два года назад поссорилась с краковскими властями и перенесла "свой" фестиваль в Варшаву.

- В этом году лауреаткой вроцлавского Смотра актерской песни стала Наталья Сикора из Слупска, продемонстрировавшая, как пишет пресса, "традиционное понимание жанра". Фурор произвел заключительный концерт полный невероятных постановочных идей спектакль "Ветры из мозга или столярка из кабаре", который, как пишет Рафал Бубницкий, стал "манифестом поколения 30-40-летних, вышедших на польские сцены в последнее десятилетие. Их идея это вариации на тему: какое кабаре берет за живое польского зрителя? Ответ представляет собой дадаистическую игру, черпающую вдохновение в реальности, где господствует смешение понятий и ценностей". В этом году смотр назывался "Новая волна", а на гала-концерте пели лауреаты последнего десятилетия, включая замечательную Катажину Гронец.
- За шлягеры прошлых лет нужно будет платить тантьемы таково прецедентное решение суда по иску, предъявленному фирме "Польске награня" ("Польские звукозаписи") некогда популярной группой "Алибабки", которая получит высокую компенсацию за незаконное использование ее старых записей.
- Главной темой VI кинофестиваля "Перепутья Европы" (см. статью в прошлом номере "Новой Польши") стала история и отношение к прошлому. В числе многих других документальных картин были показаны российский фильм Варвары Кузнецовой "Беслан. Свидетели" о двух мальчиках, взятых в заложники и кинолента "Нас не одолеть" Галины Черняк об украинской "оранжевой революции". Фестиваль сопровождался многочисленными культурными мероприятиями, а самая горячая атмосфера царила в Студенческом культурном центре при Люблинском университете им. Марии Кюри-Склодовской на дискуссии "Несведенные счеты с ПНР".

- Проходившая в Варшаве Ярмарка католических издательств совпала по времени со смертью Иоанна Павла II. Ярмарка была прервана, отменены были также многие сопутствующие мероприятия, в том числе дискуссия о последней книге Папы "Память и идентичность".
- Книга "Память и идентичность" вышла тиражом 600 тыс. экземпляров и безоговорочно лидирует во всех польских списках бестселлеров. В категории документальной литературы второе место занимает книга Камиля Дурчока "Выиграть жизнь", а третье "ГУЛАГ" Энн Эпплбаум. На первые позиции художественного списка вернулись женщины. На этот раз первое место заняла Моника Швея со своей книгой "Степенность и сумасбродство", о которой Анджей Ростоцкий пишет: "Ассоциации с "Разумом и чувством" Джейн Остен вполне уместны, ибо одна из героинь несомненно, степенная, а вторая шальная. Это оптимистическая история о возможности жизненного выбора (...) Поэтому, прежде чем прибегнуть к ингибиторам обратного захвата серотонина в борьбе с депрессией, прочти эту книгу!". На втором месте последний роман Иоанны Хмелевской "Меня убить".
- Однако, по последним данным, в целом ситуация с чтением выглядит в Польше скверно. Книга считается предметом роскоши, а в руки ее берут лишь 60% поляков.
- Большой успех имела V Варшавская встреча с комиксом, главным хитом которой стал комикс сценариста Гжегожа Януша и рисовальщика Кшиштофа Гавронкевича "Хитроумное следствие Отто и Ватсона: эссенция". В 2003 г. этот комикс победил в конкурсе на лучший европейский комикс-альбом. В условиях конкурса говорилось, что действие должно быть связано с конкретными реалиями конкретного города. "Эссенция" это небанальный детектив, действие которого происходит в Варшаве. "Его главные герои частный детектив Отто Герой и его партнер крыса Ватсон, пишет Михал Войтчук. Вместе они ведут следствие по делу о таинственной смерти одного комика. Вскоре оказывается, что смертей гораздо больше, а в дело замешан некий аптекарь, который изобрел метод конденсации книг". Только бы это не стало комментарием к ситуации с чтением в Польше...